

Константин Симонов

с 37

32752



Советские писатели 1944



К. СИМОНОВ

**ОТ ЧЕРНОГО
ДО БАРЕНЦОВА МОРЯ**

**ЗАПИСКИ
ВОЕННОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА**

КНИГА ТРЕТЬЯ

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1944**

Редактор *А. Митрофанов*

A2692. Полписана к печати 25/II 1944 г. Печ. лист $9\frac{5}{8}$,
Авт. лист. 10,21, Уч. изд. л. 10,62. Тираж 15000. Заказ 1719.

Цена 5 р. 25 к.

Тип. „Красный печатник“, Москва, ул. 25 Октября, 5.

О Т А В Т О Р А

Эта книга — продолжение двух предыдущих. Она состоит из моих корреспонденций и рассказов, написанных с фронта в газету «Красная звезда», в качестве военного корреспондента которой я работал в течение 1943 года.

Место действия этой третьей книги — Северо-Кавказский, Южный, Центральный, Западный и Карельский фронты, время действия: январь — август 1943 года.

702

РУССКАЯ ДУША

1

Просматривая потрепанные блокноты военного времени, трудно будет вспомнить потом, к кому относятся записанные среди полустертых карандашных строчек имена, названия, даты. Но самое главное все равно останется — не столько в памяти, сколько в сердце. Останется, как вечный спутник, чувство, с которым мы воювали в эту войну, знание души народа, которое никогда не будет таким ясным, как сейчас, потому что именно в тяжкую и грозную годину раскрывается эта душа перед твоими глазами, во всей широте ее и силе.

Мне довелось в последнее время проехать и пройти через Кавказ, Кубань, Ростовскую область, и у меня в сумке лежат листки чуть ли не всех

газет, издававшихся при содействии германского командования в Пятигорске и Армавире, в Майкопе и Усть-Лабинской, в Краснодаре и Ростове. До войны немецкие профессора и литераторы любили философствовать по поводу загадочной души русского народа. Трудно понять чужой народ, особенно трудно, когда ненавидишь его. Немцы не поняли души русского народа и до войны и во время ее. Но во время войны, перейдя от философствования к убийству, они инстинктивно почувствовали силу и неодолимость этой души, и свидетельством тому служат лежащие сейчас передо мной их газетные листки. Они датированы августом, когда немцы ворвались в Краснодар, сентябрем, когда они брали Налчик, октябрем, когда они уже взбирались на перевалы Кавказского хребта. Казалось, немцам улыбается военное счастье. Но в каждой газете, на каждой странице рядом с победоносными сводками звучала все одна и та же раздраженная, кричащая, истерическая нота: «Русские не вернутся», «Русские больше не вернутся», «Русские больше никогда не вернутся, вы понимаете, они не вернутся, вы должны, вы обязаны понять, что они ни в коем случае не вернутся».

Немцы повторяли это из номера в номер, изо дня в день, подтверждали цифрами, вычислениями, сравнениями. Это было главное, в чем немцы хотели убедить всех, кто жил в завоеванных ими

областях. Народ безмолвствовал, он молчал и не верил, он молчал и знал, что это не так, и чем очевиднее становились успехи германских войск, чем более внушительными становились цифры и выкладки, тем это молчание и неверие становились страшнее и непонятнее немцам. Они могли поработить часть земли, но не могли поработить душу народа. Народ знал, что немцы не насовсем, что они пока. Может быть, только у одного на тысячу эта вера опиралась на знание реального положения вещей, а остальные могли судить о положении на фронте только по немецким газетам, по немецкому радио, по немецким слухам. Но русское сердце, вера в свой народ подсказывали, что все-таки немцы пока, а не насовсем. С этим убеждением умирали, и горечь для них была не только в том, что немец захватил их город, село, а в том, что не довелось дожить до дня, когда немца прогонят.

Одно и то же чувство владело сердцами людей, оставшихся в немецком тылу, и людей, уходивших с нашей отступавшей армией. Я не помню ни одного одессита, ни одного харьковчанина, ни одного калининца, который не говорил бы о том, что будет, когда он вернется в свой родной город. Я не помню человека, который не верил бы, что мы вернемся туда, откуда ушли. Люди порой ставили под сомнение свою личную судьбу: вернусь ли, доживу ли? Но судьбу родного народа,

родного города они никогда не ставили под сомнение. Победа была для них несомненной. Именно эта незыблемая вера в победу являлась главной чертой душевного склада советского человека, чертой, которая позволяла ему переносить величайшие разочарования и нестерпимые тяготы.

2

Недавно ночью, в мокрую метель, проезжая через прифронтовую полосу, мы встретили у разрушенного моста бойцов первой железнодорожной бригады. Они работали яростно, остервенело, сбросив с себя шинели и ватники, несмотря на холод. Разворачивая железную дорогу, взрывая за собой мосты, они прошли весь тягостный путь с запада на восток, от Киевщины до Кавказа. У них с отступлением связано было особенно тяжелое чувство. Они шли самыми последними и рвали, рвали, рвали за собой все, что на их глазах когда-то строилось. Они рвали мосты и железные дороги, чтобы помешать врагу продвигаться вперед. Почти невыносимая тяжесть накопилась у них на душе за эти месяцы отступления, которые они исчисляли не столько днями, сколько километрами взорванных путей и взлетевших в небо пролетов. Теперь они шли вслед за армией с востока на запад, строили взорванные немцами мосты. Они работали с яростью людей, которым

очень некогда, некогда дозарезу, не только потому, что этого требует армия, но и потому, что это душевно необходимо им самим. Они восстанавливали за восемь дней те мосты, которые немцы восстанавливали за тридцать пять; чем сильнее был разрушен мост, чем больше было взорвано пролётов, с тем большим задором они подходили к этим взорванным руинам, тем лучше спорилась их злая и веселая работа.

Они рассказали мне один случай, происшедший у Даркохского моста. Может быть, если рассуждать прозаически, это всего-навсего только случай. Но победа и возвращение на родину полны самой высокой поэзии, и когда думаешь о победе, то этот случай кажется поэтическим символом.

Осенью мы отступали от Даркоха. Последним взрывать Даркохский мост остался лейтенант Холодов. Мост был заминирован. Холодов дождался, когда два десятка немецких автоматчиков дошли до середины моста, и поджег шнур. В последнюю секунду немцы заметили его, бросились вперед через мост, и один из них автоматной очередью убил Холодова. В ту же секунду мост вместе с немецкими автоматчиками взлетел на воздух. Падая, Холодов сжал в руках винтовку, и лавина обрушившегося камня и земли засыпала его тут же, у моста. Силой взрыва над ним насыпало большой могильный холм. Прошло время. Зимой, когда мы перешли в наступление и вышли

обратно на тот берег реки, гвардейцы железнодорожной бригады, прибывшие для восстановления моста, увидели этот каменистый холм; среди земли и камней торчало заржавленное острие штыка. «Здесь Холодов», — сказали они, движимые каким-то инстинктивным чувством, и стали разрывать смерзшуюся землю. Под ней нашли Холодова. Он не лежал, а стоял под землей, в последнюю секунду взрыва вскинув над собой штыком вверх стиснутую в руках винтовку. Как мертвый часовой, он простоял под землей полтора месяца, словно ожидая товарищей, которые вернутся к этому мосту, как они рано или поздно вернутся ко всем взорванным мостам и через Дон, и через Днепр, и через Буг, и через Днестр.

3

1943 год... Как хочется, чтобы на века эта дата звучала радостно для нас и грозно для немцев! В ночь под Новый год на одном из перевалов через Кавказский хребет помещался занесенный снегом командный пункт дивизии. Туда поехала фронтовая бригада артистов; с ними был баян. Баянист всю ночь играл одну за другой русские и украинские песни — «Виют витры», «Лучинушку», играл плясовую. То и дело звонил телефон. Командир дивизии делал рукой знак, баян стихал, по телефону передавались деловые распоряже-

ния — и снова продолжалась песня. Вдруг раздался еще один телефонный звонок. «Товарищ полковник, — сказал в телефон далекий голос, — разрешите обратиться. У вас там баян песни играет, к нам хотя и тихо, а доносится, так пусть у вас там трубку не кладут, вся линия хоть так послушать хочет».

Трубку не положили, и на занесенном снегом перевале, в землянках, у телефонных трубок слушали связисты в новогоднюю ночь доносившиеся издали отголоски русских песен, слушали москвичи и киевляне, слушали сибиряки и новгородцы. Им вспоминались родные места, музыка прерывалась приказами, и сорок второй год переходил в сорок третий, в тот год, который в эту ночь все уже связали в своих сердцах со словом «победа».

Сейчас перевалы уже опустели, войска спустились с гор, и те, кто слушал в новогоднюю ночь музыку среди снежных вершин Кавказа, бьются теперь в Тамани, под Таганрогом, в Донбассе.

Не каждый солдат детально знает географию, не каждый знает, через какие в точности города и села проходит исконная русская граница, не каждый знает подробности истории России, ее битв и походов и ту цену, которой заплатили предки за нерушимость нашей земли. Но у каждого солдата болит душа за всю Россию. Если он кубанец или ростовчанин и уже отбито у немцев

его родное село или город, душа его попрежнему болит за Киев, за Смоленск, и попрежнему он называет эти города в числе тех заветных мест, до которых он лично сам непременно должен дойти. Всосанное с молоком матери чувство родины и без географии подсказывает солдату, как далеко еще на запад тянется земля, где слышится русская речь и звучит русская песня. И его беспокойное сердце не утомится до тех пор, пока он не дойдет до края этой земли.

Была зима и безводье, и сильные ветры в голой степи, где только от времени до времени одинокие чабарни — убежища пастухов — давали возможность — нет, не погреться, а только спрятаться от ветра, где стога сена были желанным приютом и нора в снегу казалась почти домом. Пехота шла с почерневшими от мороза и ветров лицами, с покрасневшими руками двести, триста, пятьсот километров. Армейские тылы отставали от уходящей вперед пехоты. Люди шли, на ходу жевали сухари, и котелок супа был далеко не ежедневной. Что такое слова «родина зовет», можно понять, только протопав все эти бесконечные версты. Если поставить памятник самой большой силе на свете — силе народной души, — то должен быть на том памятнике изваян илущий по снегу в нахлобученной шапке, немного согнувшийся, с рещевым мешком и винтовкой за спиной русский пехотинец.

В снежные заносы, когда ни одна машина не могла сдвинуться с места, тридцать километров на руках протаскивали свои пушки артиллеристы майора Г. Рогана. По нескольку суток в зимнюю стужу не вылезали из своих железных коробок танкисты Ротмистрова; нужно было дьявольское терпение, чтобы перетаскать тяжелые танки через реки Цымлу, Куберле, Сал, Маныч. Появился новый технический термин — наращивание льда. Наращивать лед — это значит класть на него бревна и солому, заливать водой, опять класть бревна и солому, опять заливать водой, и так до тех пор, пока все это не будет выдерживать тяжесть переползающего через реку «КВ».

Через полузамерзшие болота и плавни, обходя немцев, люди шли босиком, неся в руках валенки, чтобы потом, добравшись до твердого места, можно было шибче идти на немца.

Должно быть, нет на свете высшей награды, чем видеть лица людей, своих родных, милых русских, до которых ты дошел и которых ты освободил, видеть их глаза, полные ласки и слез.

Небывалые тяготы переносила армия в эти зимние месяцы, переносила вся, от солдата до генерала; одна живет в людях армии могучая народная душа. И если я могу рассказать про сержанта Старчевого, прошедшего пешком с винтовкой, с вещевым мешком за плечами от Сталинграда до Ростова через такое, что и присниться

не может человеку, то я могу рассказать и про генерала, который командовал войском, где служил сержант Старчевой. Про генерала, у которого открылись старые раны гражданской войны, а он, по-солдатски терпя боль и муку, шел вперед со своей армией и на коротких привалах, закрыв глаза и преодолевая боль, по телефону, обычным своим ровным голосом отдавал приказы и ободрял шедших с ним, счастливых победой, людей.

4

В последнее время среди немецких солдат широко распространилось родившееся на этой войне выражение, которое в буквальном переводе на русский язык значит — «выстрел на родину». Смысл этой крылатой фразы, быть может, по существу гораздо страшнее и печальнее для немцев, чем очередная дурная сводка из главной квартиры фюрера.

Выстрел на родину — это значит тяжелое ранение, после которого немецкий солдат едет в Германию с надеждой больше никогда не вернуться на Восточный фронт. Раньше немцы мечтали о посылках на родину, теперь они мечтают и пишут о выстреле на родину. Времена переменялись. «Выстрел на родину» — циничный юмор разочарованного разбойника, в котором самое священное слово «родина» склоняется самым постыдным образом.

Мы победили немцев не только потому, что взяли Ростов или Ржев, а потому, что велика сила духа нашего народа. Эта сила познается в несчастьи и испытаниях. И мы проверили ее и таких испытаниях, какие еще не выпадали на долю нашего народа.

Когда я читаю в немецких письмах фразу «выстрел на родину», мне по контрасту вспоминается история летчика-штурмовика Виктора Шахова — история, конца которой я еще не знаю, но начало ее удивительно.

Шахов уходил на десятки штурмовок. И каждый раз это было открытым вопросом — жить или умереть, и каждый раз он решал его в свою пользу, пока однажды его самолет не сожгли в глубоком немецком тылу. Шахов выбросился на парашюте и пошел через фронт. Была зима, он шел долго и мучительно, почти босой, и отморожил ноги. Когда Шахов наконец дошел, то, несмотря на все старания врачей, спасти ноги уже нельзя было. Ему отняли обе ступни. Он долго лежал в госпитале, пока наконец ему не сделали хорошие протезы, при помощи которых он, уже не как прежде, но все-таки смог ходить. Казалось бы, ему осталось только поехать домой, в маленький городок на Оке, где ждали его родные. Но Шахов добился, чтобы его вернули в полк. Ему дали работу в штабе полка, и ежедневно он завистливо провожал глазами вылетающих на штурмовку товарищей.

Прошло несколько месяцев.

Шахов часто ходил на аэродром: он вабирался в кабину штурмовика и подолгу возился там. Наконец он подал рапорт командиру полка о том, что хочет и может летать: он все проверил, протезы не могут служить препятствием. Командир полка сначала не хотел даже слушать его. Шахов упорно настаивал и доказывал; он добивался права летать, как одержимый, потому что дело шло о счастье его жизни. А это счастье он видел единственно в том, чтобы лично продолжать воевать с немцами до тех пор, пока будет длиться эта война. Сила его упорства была такова, что командир полка в конце концов согласился и подал командиру дивизии рапорт, в котором поддерживал просьбу Шахова. Командир дивизии, так же как и командир полка, сначала не хотел об этом и слушать, но в желании Шахова была та русская сила духа, та решимость идти до конца, которую невозможно было отвергнуть. Кончилось тем, что и он поддержал перед штабом армии просьбу Шахова.

Я не знаю, разрешили Шахову летать или нет, но, когда я думаю о том, что мы непременно победим, я вспоминаю Шахова и тех, кто не мог ему отказать, и те многие тысячи русских людей, которые на его месте добивались бы того же.

На перекрестках прифронтовых дорог стоят столбы со свежими, в разные стороны торчащими дощечками. Иногда дощечек так много, что они похожи на веер. На Армавир, на Крпоткин, на Тихорецкую, на Краснодар, на Кущевскую, на Ново-Кубанскую — большой звездой расходящиеся дороги идут в места, еще недавно занятые немцами, и срубленный столб с латинскими буквами валяется рядом на земле, как поверженный вражеский солдат.

Я вспоминаю сентябрьский день прошлого года, когда мы, прилетев под Сталинград, высадились с самолета в заволжской степи, где вдалеке белело знакомое только по учебникам географии соленое озеро, а кругом тянулася безводная степь, казавшаяся краем света. Дальше лететь было нельзя. До Сталинграда надо было ехать машиной, потом водой. Пожалуй, за всю войну у меня не было такого тяжелого чувства, как в этот день. Как далеко зашел немец! — вот чувство, безмолвно тяготившее душу всех, кто тогда был там.

Душевное спокойствие мы вновь обрели только на следующий день, в одном из батальонов, оборонявших северную окраину Сталинграда. Там все помыслы и душевные силы людей были направлены на одну, казалось бы, маленькую, но на самом деле великую задачу — отстоять от немцев лежащую за северной окраиной Сталинграда ма-

ленькую деревеньку Рынок. Это было задачей жизни. И как бы ни складывался общий ход сражения, у себя, на фронте в один километр, они хотели во что бы то ни стало добиться и добились победы — по-солдатски, по-русски, не мудрствуя лукаво. Они не рассуждали, что значит деревенька Рынок по сравнению с тем, что немец подошел к Волге. Деревенька Рынок в эти дни была для них жизнью. Здесь они хотели победить немцев. А в масштабе всего фронта, состоявшегося в конце концов именно из этих деревенок, холмиков, городских кварталов, переправ, в каждом таком месте люди, шлобждая, незаметно ковали общую победу.

Сила духа не только в том, чтобы быть ежедневно готовым отдать жизнь за родину, но и в том, чтобы при общем тяжелом положении не дать себе душевно потеряться перед врагом. Не дать себе поверить в его превосходство, поверить в то, что он умней, сильнее, опытней.

Великим свойством души советского бойца и офицера оказалась вера в свои силы. За ошибки платили кровью, на неудачах учились, из сражений извлекали опыт, но, несмотря ни на что, в русском командире не была поколеблена ни вера в свои силы и способности, ни гордость за свой мундир. Отступая, наша армия и ее командиры изо дня в день в течение всего этого тяжелого времени то там, то здесь упорно отстаивали каж-

дую возможность, выигрывали сотни и тысячи маленьких сражений, и, когда армия смогла перейти в общее наступление, командиры ее к этому были морально готовы. Их дух, воспитанный многими упорными боями, был в основе своей духом победителей, людей, которые никогда не отчаивались и никогда не сомневались в возможности перейти в наступление.

Сталинградская битва, где с особенной силой проявилось все упорство русского народа, воспитала целую плеяду командиров и военачальников. Мы многому научились, и то, что вчера казалось достижением, сегодня кажется недостаточным. Когда командир атакующего город полка доносит командиру дивизии, что он «жмет немцев», командир дивизии охрипшим, простуженным голосом кричит ему в телефон: «Ты мне их не жми, ты мне их забери». Это не просто фраза, это новый этап войны, когда командирам уже кажется недостаточным то, что им казалось успехом год назад. Жать немцев — теперь им этого мало, теперь они хотят забрать их.

Мы не только предчувствуем победу, мы начинаем ее осязать, потому что, кроме высокой и мужественной души, у нашего народа есть сильные солдатские руки, которые умеют воевать и завоевывать победу.

КРАСНОДАР

Когда дымный рассвет поднимается над опаленным, дымящимся городом и на задворках еще стучат автоматы, и то там, то тут сухо щелкают винтовочные выстрелы, а на восточной окраине города, на булыжной мостовой, толпятся женщины, дети и неведомо откуда добытый букет цветов падает в первую въезжающую в город легковую машину, — должно быть, все это, вместе взятое, и называется счастьем.

Да, горят дома, и невероятно изуродованные камни и железо громятся кругом, и нет дома, в котором не плакали бы о покойнике, но все-таки, что бы ни было, сегодняшний рассвет в Краснодаре — это счастье, трудное, прошедшее через смерть и горе военное счастье.

Счастье всегда приходит неожиданно. Так оно пришло к нам и здесь, среди пожаров и канонады, среди всех трагических случайностей войны, в которых как бы ни привыкали люди, до конца привыкнуть они все равно никогда не смогут.

Уже неделю в городе было слышно, как бьют

орудия, и хоть всю эту неделю они были примерно на одинаковом отдалении, но, подобно тому, как надежда сменялась опасениями и снова надеждой,— канонада казалась то очень близкой, то отдаленной, то снова близкой. Люди спали не раздеваясь. Изю дня в день, из ночи в ночь немцы, готовясь к неизбежному падению города, поджигали квартал за кварталом, и женщины с детьми на руках, среди огня, тонимые, переходили из дома в дом, из улицы в улицу, и казалось, что этому не будет конца, и хотелось шептать: «Когда же?» и кричать: «Скорей!»

Весь вечер в станице Пашковской и в предместьях заливались пулеметы. Это было уже совсем близко, а все-таки и верилось и не верилось. Среди ночи в первые дома стали стучать и на вопрос: «Кто?» отвечали: «Мы», — одно короткое слово, к которому ничего не надо прибавлять, а люди плакали и боялись верить, и открывали двери дрожащими руками, и целовали незнакомых бойцов в колючие щетки, и словно еще стараясь наощупь проверить,— правда ли все это, осторожно трогали пальцами грубое сукно солдатских шинелей.

Я приехал в город на рассвете, а сейчас почь, но за весь этот день мне так и не удалось ни с кем поговорить связно, основательно, до конца. Сегодня здесь все волнуются, все перебивают друг друга, все говорят обрывками фраз, вспоми-

нают, забывают, и снова вспоминают, и вдруг среди речи плачут и опять торопятся говорить, скорее говорить о самом главном, а самое главное, пожалуй, и не выговоришь словами, потому что это счастье. Счастье лучше слушается сердцем, чем выговаривается.

На окраине еще стреляют, и орудия бьют где-то близко, рядом, но кажется, что весь город вышел из домов, пощаженных пожаром; женщины суют бойцам в руки свертки с табаком и домашние, еще теплые, пышки, выносят на дорогу крынки молока, потчуют проходящих солдат всем, что еще осталось в сожженном и ограбленном городе. Одни кричат «ура», другие говорят какие-то ласковые, первые приходящие на память слова, третьи не в силах говорить — просто машут, машут руками.

Мосты взорваны. Чтобы добраться до центра города, мы долго крутимся между железнодорожными путями и наконец выезжаем на центральные улицы. Немцы готовились к неизбежному падению города, но последний удар войск генерала Росло-го был все-таки неожиданным своей стремительностью. Впереди них горел и взрывался город, и весь этот день они, линию за линией, прорывали немецкую оборону с поспешностью людей, спасающих от огня и гибели свое родное гнездо. Части полковника Богдановича за последние сутки в непрерывном бою прошли больше два-

дцати пяти километров. Смертельно усталые, они ворвались на окраину, но здесь та неведомая сила, какая в такие минуты рождается в сердцах русских людей, окрылила их, и они пронеслись через город, на плечах отступающих немцев, одним дыханием, одним порывом. На асфальте центральной улицы города — Красной. — опрокинувшись навзничь, лежат мертвые немцы, убитые час назад в последнем уличном бою. Вокруг них толпятся люди, мимо них безжалостно и спокойно проходят даже дети. Может быть, когда-то эти люди не могли равнодушно смотреть на кровь и страшились вида мертвого тела, но сейчас они спокойно смотрят на поверженных врагов и я читаю в их глазах то простое, солдатское, чувство, которое за последние полтора года стало привычкой в армии. Они не жалеют, не содрогаются. Они считают: еще один убитый немец, еще один, еще два, — должно быть, так и надо, так и справедливо.

В поисках местной типографии мы выезжаем на одну из тихих, обойденных пожаром улиц. Где-то в конце ее слышатся звуки перестрелки, потом все стихает. Мы останавливаемся у ворот, чтобы спросить, куда ехать. Мой спутник на секунду вылезает из машины. Стоящая у ворот старая женщина подходит к нему, внимательно смотрит и вдруг, обняв, по-старинному, трижды, неторопливо целует его.

— Сынок, сынок, — говорит она, — не помнишь, сынок, а?

Я в первую секунду думаю, что, может быть, правда — это его мать, но нет: оказывается, он просто ночевал в их дворе в последний день, еще тогда, при наших, когда мы оставляли Краснодар.

— Вернулся, сынок, — говорит она. — Здоровый.

И хотя теперь я уже точно знаю, что он не ее сын, а случайный военный постоялец, но по интонации ее голоса, по тому, как она произносит это слово «сынок», мне снова кажется, что он все-таки ее сын.

По мостовой, прямо к нашей машине, задыхаясь, бежит простоволосая, в сбившемся платке, женщина.

— Поедемте, — говорит она. — Там у нас во дворе немцы ранили командира, вот прямо сюда, — и она тычет себя в грудь выше сердца. — Поедемте, мы перевязываем его сейчас, но кровь так и бежит.

Через минуту въезжаем во двор, где у ступы лежит один мертвый немец, а второй, застреленный, торчит в странной позе наверху, свесившись из слухового окна чердака.

— Он в него стрелял, вот этот, — говорит женщина, показывая на того, который свесился из чердачного окна, — а один побежал туда, задворками, за ним два бойца побежали... Вы зайдите в квартиру, — кровь из него, бедного, так и бьет.

Мы заходим. На белоснежной хозяйской постели, между сбитых в сторону, залитых темной кровью, кружевных подушек, в разорванной гимнастерке лежит сержант. Грудь его наспех перевязана бинтами, сквозь которые все шире и шире проступает кровавое пятно. Раненый — без сознания, ему очень плохо. Вокруг него молча столпились женщины, и такое сострадание на их лицах, такое неукротимое желание все отдать ему, всем помочь, что мне кажется, он должен выжить силой этой материнской любви, этого желания.

Сын женщины, приютившей раненого, став на подножку машины, досажает с нами до городской больницы и тут, соскочив, бежит во все лопатки по тропинке, ведущей к хирургическому отделению. Сейчас он там разыщет хирурга, разыщет во что бы то ни стало, и если тому будет даже шестьдесят лет, он побежит к раненому, задыхаясь и все-таки не отставая от мальчика.

В саду за больницей нас встречает человек, который в первую секунду кажется мне стариком. Он обут в опорки, сквозь черную рваную гимнастерку просвечивает грязное тело. Голова у него седая, он все время трясется и дергается, одна рука у него висит, как плеть, и он с трудом двигается, волоча распухшую, страшную, обожженную ногу. Слезы текут по его лицу, он даже не пробует их стереть, — очевидно, давно перестал их замечать. Дрожа и выговаривая слова

с таким трудом, что мы едва их понимаем, он спрашивает, как ему дойти до коменданта. Мы долго пытаемся не то чтобы успокоить его, но хотя бы унять дрожь сотрясающегося его тела. Наконец он с трудом овладевает собой настолько, чтобы связно сказать, что с ним произошло. Он военнопленный, он раненый, — вот эта рука у него совсем перебита. Он был на ссылке в том конце города, где несколько сараев, раньше там ссыпали пшеницу, а последнее время там был лагерь для военнопленных. Позавчера немцы зажгли его, и там почти все сгорело. Когда стены обрушились, он пополз через обломки. Ему придавило ногу, он долго не мог вылезти, и она обгорела. Но он все-таки вылез. Он узнал, что сегодня, вот только сейчас, пришли наши. Он почти не может идти, но ничего, он все равно дойдет до коменданта, он расскажет, что они сделали с пленными, вот они. И он рукой, которая на эту секунду становится твердой, показывает в ту сторону, где за сараем громоздится огромное кладбище свезенных сюда немцами и скопом подожженных машин. «Они», — тычет он пальцем в сторону машин. И я чувствую, как он ненавидит не только самих немцев, но и все ими порожденное, все это серое, черное, обгорелое подлое немецкое железо.

К середине дня количество пленных в самом Краснодаре переваливает за четвертую сотню.

Они уже не помещаются в тесном подвале дома напротив горящего почтамта, куда их начали собирать с утра. Длинной цепочкой, одного за другим, их выводят из подвала. Они, спотыкаясь и хмурясь, поднимаются наверх по каменным ступенькам. Когда они идут по улице, люди, стоящие вдоль тротуаров тесной толпой, молча заглядывают в их лица. Стоит долгое угрожающее молчание, и вдруг среди этого общего молчания седой коренастый старик громко, на всю улицу, говорит:

— Ну, что вы на них смотрите? Не нагляделись еще за шесть месяцев? Есть на что смотреть!

И, очевидно, большая человеческая правда есть в этих словах старика, потому что один за другим люди начинают отворачиваться от пленных немцев. И они идут дальше через попрежнему враждебную, но уже почти равнодушную к ним улицу.

Да, нагляделись. Слишком нагляделись за эти шесть месяцев на них и на совершенное ими. И еще продолжаем глядеть, потому что все еще горит город, еще с треском рушатся пылающие бревна перекрытий, и вдоль всех центральных улиц тянутся ряды то взорванных, то обугленных домов, и тротуары завалены битым стеклом, камнями, кусками перегоревшей жести. Даже городской парк, — один из лучших парков юга, — вырублен под корень. Даже самые маленькие ка-

менные дома сожжены и разломаны. Каждый угол в городе — это своя трагедия, свои муки, свой ужас. Угол улиц Воровского и Шаумяна — виселица. На фонарном столбе — семнадцатилетний мальчик с дощечкой на груди: «Я распространял ложные слухи». Следующий угол — Красной и Ленина — еще один повешенный, еще одна дощечка: «Я не подчинялся приказам немецкого командования». Следующий угол — на столбе женщина: «Я отравила двух немцев». А дальше — развалины бывшего родильного дома, где, так же как и на ссылке, немцы три дня назад собрали раненых военнопленных и сожгли. Немецкие автоматчики стояли на углу, не давая ни выскочить из дома, ни подойти к нему. Женщины обегали дом задними дворами, проломали дыру в заборе и все-таки вытащили несколько десятков полубогоревших раненых. Две или три из них заплатились за эту жизнь: они были застрелены тут же у забора заметившими их немцами.

Краснодар — столица Кубани, один из старейших русских городов на Кавказе. Когда немцы входили в город и совали детям в руки грошовой шоколадки, четыре кинооператора с четырех разных углов снимали это. Потом немцы, разломав несколько заборов и домов, раздавали женщинам эти краденые доски на топливо. Женщинам нечем было обогреть своих детей, и они брали доски. Четыре кинооператора с четырех разных углов

стимали это. Немцы входили шумно и торжественно. Они входили в Краснодар, желая сделать вид, что эта столица Кубани и при них останется столицей Кубани. Они забыли только одно, — что русский город никогда не станет немецким городом, сколько бы дощечек с названиями они ни переменили на углах улиц и сколько бы портретов Гитлера с надписью «освободитель» они ни расклеили на заборах. Они вынули из нафталина двух дряхлых белогвардейцев, грызущихся между собой из-за того, кому из них двоих предстоит владеть заказанной в Берлине гетманской булавой. Они открыли сбор в «фонд зимней помощи», собрали со всей Кубани семьдесят две тысячи рублей и в течение шести месяцев изо дня в день вербовали «кубанскую армию», которая в конце концов оказалась неполнокомплектной сотней. Они выдавали хлеб и сто пятьдесят рублей в месяц семьям иуд, пошедших служить в германскую армию, но за эти тридцать серебряников, несмотря на все старания, со всей Кубани не набралось и ста предателей. Люди голодали, чухли от голода, но не сдавались, умирали, но не предавали родину. И тогда вместо ворованных досок появились плети, вместо шоколада — виселицы, вместо кинооператоров — дополнительные отряды гестапо. Немцы сначала украсили улицы кубанской столицы виселицами, а потом сожгли эти улицы, взорвали дома, сделали все, чтобы хоть

чем-то отомстить русскому народу за его непоколебимость.

Уже ночь. Пулеметов не слышно, все дальше, все глуше бьет артиллерия. Войска уходят на запад, к Таманскому полуострову, — туда, где, отчаянно отгрызаясь, дерутся последние на Кубани немцы, где дыбом стоят их разбитые машины, где теснятся, давя друг на друга, на дорогах обозы, где на берегу пролива, ругаясь и дераясь из-за мест в лодках и на катерах, проклинают все на свете осатапешные немецкие солдаты.

А на тихих ночных улицах, Красноподара, над воротами домов, то там, то здесь трепещут маленькие полотнища наших красных флагов. Они маленькие потому, что прятать этот кумач — значило рисковать жизнью, и его рвали на небольшие кусочки, его засовывали в белье, под матрацы, в шкапы. Но едва-едва засинел рассвет и первые отряды наших войск пошли через город, кусочки кумача, заботливыми руками прищепленные на самодельные палки, уже вилась над горящими, дымными, многострадальными, по свободными улицами города.

И, должно быть, только тот, кто испытал на себе все, что пережили находившиеся здесь эти полгода, поймет, что такое красный цвет этого обрывка кумача, висящего над воротами его сожженного дома. Это больше, чем радость, — это счастье.

ГУЛЬКЕВИЧИ—БЕРЛИН

Это было 5 ноября. Поезд Гулькевичи—Берлин стоял на рельсах, готовый к отбытию. Правда, для прямого, беспересадочного поезда он имел несколько страшный вид: два десятка запломбированных товарных вагонов, десяток цистерн и полдюжины старых, разбитых теплушек — вот и все. Но нынешние немцы давно уже перестали заботиться о каком бы то ни было правдоподобии своей лжи. Они приказали квартальным и жандармам говорить, что поезд будет прямой: Гулькевичи—Берлин, и все квартальные и жандармы с тупостью наймитов повторяли это всем и каждому в течение всего последнего месяца.

— Вы поедете прямо в Берлин, там вам будет хорошо, — говорили они, глядя прямо перед собой тяжелыми оловянными глазами пропойц и вешателей. — Вы будете посылать оттуда посылки своим родным. Вам там будет хорошо, — повторяли они, наклоняясь над съезжившейся от ужаса шестнадцатилетней девочкой и обдавая ее лицо

запахом перегара и немецких сигарет.— Вы будете там работать, вам там будет хорошо,— утверждали они, не стараясь даже придать своим словам особую выразительность, потому что большой кулак, который они при этой фразе с треском опускали на стол, казался им лучшей формой убеждения.

Уходя, они клали на стол продолговатый лист бумаги, где наверху был изображен черный германский орел, а внизу стояла подпись: «Главкомандующий германскими войсками на Кавказе». Заголовок «Германия зовет тебя» заканчивался огромным черным восклицательным знаком, похожим на дубинку берлинского штурма, со стекающей с нее тяжелой каплей крови. А текст был похож на удары этой дубинкой — тупые, злобные удары, вызывающие боль и безысходную тоску: «Ты живешь в стране, где фабрики и заводы разрушены, а население пребывает в страшной нищете... Поехав на работу в Германию, ты сможешь изучить прекрасную страну немцев, познакомиться с просторными предприятиями, чистыми мастерскими и с работой домашней хозяйки в ее уютном жилище... Отход первого транспорта последует в ближайшем времени, о нем будет своевременно объявлено. Будь готов к поездке, возьми с собой ложку, нож, вилку...» Объявление кратко и по-своему убедительно — той циничной убедительностью, которая,

несомненно, есть в словах убийцы, говорящего своей жертве: «Отдай мне все, что у тебя есть, или я тебя убью. Ты живешь в стране, которую мы опустошили, но мы готовы взять тебя в рабы. Ты будешь мыть полы в наших домах, выносить наши почные торшки. Тебе не уйти от нас: уже тысячи таких, как ты, мы заставили делать это. Мы отняли у тебя весь хлеб, и ты или пойдешь к нам рабом, или подохнешь. Возьми с собой нож и вилку, ты будешь собирать объедки с наших тарелок».

Проклятая бумага лежала на столе в хате, там, где ее положил жандарм: никто не дотрагивался до нее руками, словно она была заражена проказой. Но вечером, при свете масляного почника, ее в десятый и в двадцатый раз перечитывали опухшими от слез глазами. Ночью, когда все наконец засыпало, хату вдруг освещал ручпой прожектор. Снаружи через стекло он обшаривал стены, взбирался на печку, на кровать и, как чужая скользкая рука, полз по лицам спящих. Потом раздавался стук, комендант и жандарм входили в хату, усаживались за стол. Молча, скрестив руки, дрожа спросонья и от ночного холода, стояли перед ними русские люди, которых звали в рабство, в Германию. Комендант и жандарм усаживались рядом за стол с угрожающей неторопливостью пасыльчиков, которые все равно не уйдут, прежде чем не сделают задуманного.

Главкомандующий германскими силами на Кавказе приказал вербовать на работу «добровольно», но в кармане у коменданта, так же, как и у сотен других комендантов, лежала разверстка с точными цифрами сроков вербовки. На коменданте лежала несвойственная его профессии вешателя обязанность «убеждать». Это его раздражало и злило, но, как дисциплинированный немец, он в то же время считал, что раз начальство предпочитает вешать русских где-то потом, когда они будут бежать с дороги, а не сразу, здесь, когда они будут отказываться ехать, то, значит, пока его дело — убеждать, а вешать будут потом другие. Комендант сидел, поставив рядом с собой на стол ручной прожектор. Как на допросе, направив луч света прямо в мигающие глаза хозяев, он говорил коротко и сухо, в такт словам угрожающе постукивая по столу пальцем. Он вкладывал в слова всю свою ненависть ко всему русскому, все свое высокомерие и презрение. Он говорил, что русских войск уже нет, что Сталинград взят и по Волге плывут только мертвецы да красноармейские пилотки. Он говорил, что до 10 января все равно будет всеобщая мобилизация русских от 14 до 45 лет, и если они не пойдут добровольно сейчас, то тогда (при этом его палец особенно яростно стучал по столу), тогда он заставит их ехать, да, заставит. И не кажется ли им, что тогда будет гораздо хуже? Он говорил,

что скоро здесь, среди этих развалин, им нечего будет есть и не во что одеваться. Но если они поедут в Германию и будут старательно трудиться, то часть того, что они произведут, попадет сюда, в их нищую страну. Тщотю пытаюсь сделать вкрадчивым свой жестокий голос и заглядывая в лицо молчаливой девушке, он говорил, что будущее ее родителей зависит от нее и братьев. Если они поедут в Германию, то старикам здесь будет лучше жить, об этом позаботится он, комендант. Но если они не поедут... Здесь комендант останавливался и, выдержав долгую угрожающую паузу, вставал. Он сказал все, все, что считал нужным, теперь их дело думать над его словами.

Желтое пятно прожектора, выскочив из ворот, медленно ползло дальше вдоль улицы. А люди в хате все еще сидели безмолвно и неподвижно, словно замороженные, и только потом начинали плакать и шептаться...

На следующий вечер все повторялось сызнова. Опять прожектор, опять комендант, опять угрозы, похожие на допрос, и потом снова бессонная ночь, полная неизвестности и ужаса. Кругом были только немецкие солдаты, немецкие машины, столбы с немецкими объявлениями, немецкие газеты, немецкая клевета. Где наши, где они? Может быть, правда, сожжена Москва и давно взят Сталинград, и далеко, на тысячу километров

ва восток, уже не слышно свободного русского голоса? Кто скажет правду? Никто. Кто развеет черные мысли? Никто. К кому пойти за правдивым ответом? Не к кому. И только русское сердце в груди, вопреки всему, всей лжи, всей клевете, всем наветам, подсказывает: жди, надейся — они еще придут, милые, родные, оброщие в походе, усталые бойцы, и снова принесут сюда свободу, родину. — Россию. И когда ночью приходил немецкий комендант, уже готовые отчаяться люди все-таки опять отвечали ему угрюмым молчанием.

Мне рассказали все это в кубанской станице Гулькевичи. Я шел по длинной станичной улице и, не выбирая, заходил то в одну, то в другую хату. Два эшелона все-таки ушли из Гулькевичей в Германию. Один — 5 ноября, другой — 5 января. Немцам не удалось никого убедить, но многих они сумели заставить. Я шел из дома в дом, через два на третий в них шустовала кровать, и лишившиеся своих детей матери с сухими, давно выплакавшими все слезы глазами рассказывали мне о том, как уводили в рабство их детей. И была в этих рассказах безысходная тоска, напоминавшая о далеких диких временах татарского ига, о батыевом нашествии, о несчастных полоняках, которых безжалостно волокли по степи за своими конями васильники. В каждом таком доме мне указывали на другой — за углом, напротив или через улицу, где тоже царило свое

горе. Петровы, Шарашкины. Пугачевы, Казаковы — сколько их в одной этой станции, казачьих русских семей. Чьи шестнадцатилетние сыновья и дочери гнут сейчас спины где-нибудь в Бреслау или Келлине или, застреленные при попытке к бегству, одиночными трупами лежат у железнодорожных путей под Бахмачем, под Жмеринкой, Перемышлем.

Когда убеждения не помогли, детей начали вызывать в комендатуру и бить; когда не помогло и это, им пригрозили расстрелом родителей. Некоторые сдались, остальных, все еще не желавших «добровольно» ехать в Германию, мобилизовали работать на железную дорогу. Они грузили вагоны, ворочали шпалы, таскали кирпичи. И когда подошел день, намеченный для отправки эшелона, им сказали, что они переводятся на другую работу — в Германию. Нет, их не насилуют, не заставляют уезжать, их просто переволят на другую работу. Плач и ужас стояли в этот день в станции. Дети не смели бежать, боясь, что убьют их родителей. Родители молчали, боясь, что убьют их детей.

Я сижу в осиротевшей семье Казаковых. Дрожащим голосом единственная оставшаяся в семье дочь, совсем еще девочка, рассказывает мне об этом дне. Ее приемная сестра Маруся уехала еще в ноябре; она не хотела ехать, но ее взяли на железную дорогу таскать шпалы. Это была от природы слабенькая девочка. в последнее время

совсем ослабевшая от голода. Немцы заставляли ее таскать шпалы. Когда она, обессиленная, падала, ее били, когда она вставала и снова падала, ее снова били. Боясь умереть от побоев, она не выдержала и в поябре добровольно, — о да, совершенно добровольно, — согласилась уехать. В январе наступила очередь брата Егора. Ему даже не дали зайти домой. Он только успел передать через проходившего мимо соседа, что утром увозят в Германию его и двоих товарищей: Володю Пугачева и Ваплю Купченко.

Ночью по приказу коменданта из станицы привезли к поезду несколько саней с сеном и пабросали на пол в четырех разбитых, холодных, без печей товарных вагонах. Утром, спрятав под платком несколько домашних, испеченных из последней муки, пышек, младшая сестра пришла провожать брата. К поезду уже прицепили паровоз. Она шла вдоль состава, разыскивая брата. У каждого вагона стояло по трое немецких солдат с автоматами. Наконец она увидела брата. Им разрешили обняться. Он плакал и сквозь слезы шептал ей, что убежит еще до Ростова, но чтобы его не ждали дома: он не вернется, чтобы не погубить мать.

— Шнелль, шнелль, — ворчливо заторопил немец.

Брат влез в вагон, состав тронулся. Вдруг откуда-то изнутри вагона надрывающий душу за-

удивный девичий голос запел песню, которую, может быть, и пели когда-нибудь раньше, но в станциях узнали и стали петь только печально, при пемцах, когда девушек начали угонять на чужбину.

Здравствуй, мать,
Прими привет от дочки.
Пишет дочь тебе издалека.
Я живу, но жизнь моя разбита,
Одинока, нищенски горька.

Поезд ускорял ход, но песню подхватило сразу еще несколько голосов:

Завезли меня в страну чужью,
С одинокой белой головой.
И разбили жизнь мне молотью,
Разлучили, маменька, с тобой.

Поезд все уталаялся, и стоявшая на платформе рыдающая девочка повторяла дрожащими губами уже почти не слышные, только угадываемые знакомые слова песни.

Площадка последнего вагона со стоящими на ней двумя немецкими солдатами становилась все меньше и меньше и наконец совсем скрылась за поворотом...

Товарищ, когда ты увидишь пемца, мертвого или живого, знай, что это твой непримиримый враг. Холодный, безжалостный, беспощадный. Это он вешал бирки на шею старикам, это он бил женщин, это он угонял на чужбину детей, это он

убивал, избивал, мучил. Это из-за него вешались изнасилованные женщины и бросались под колеса увезенные из дому дети. Против немцев сейчас есть только одно оружие—сила. Они заслуживают только одного чувства—ненависти. А лошады они не заслуживают и, несмотря на всю доброту русского сердца, никогда не заслужат.

Северо-Кавказский фронт

ПАРАМОН САМСОНОВИЧ

Недавно в одном из казачьих полков, воюющих на Южном фронте, мне довелось познакомиться со старым казаком Пармоном Самсоновичем Куркиным — человеком, встречи с которым я, наверное, долго не забуду.

Вышло это так. В обычный, рядовой день зимнего наступления в полуразрушенной деревушке, где размещен штаб полка, среди развалин собрался казачий митинг представителей от всех эскадронов. На митинге было прочтено и потом подписано казаками письмо, с которым должен был поехать их посланец на родину, в освобожденные станицы. После митинга, поговорив с несколькими казаками и командирами о событиях этого дня, я уже собирался ехать дальше, когда командир полка сказал мне, как о чем-то само собой разумеющемся:

— Ну, с Пармоном Самсоновичем вы уже говорили?

Еще не зная, о ком идет речь, я понял, что

командир полка не представляет себе, что от них можно уехать, не поговорив с Парамоном Самсоновичем. Через несколько минут я увидел его самого. Был это невысокий кряжистый человек с густой рыжей, пачицающей сетью бородой и острыми, ястребиными, глядящими из-под мохнатых бровей глазами. И хотя сразу было видно, что ему уже немало лет, но все-таки стариком его никак нельзя было назвать. — такая у него была молодцеватая осанка. Крепость и какая-то особенная казачья лихость чувствовались во всей его фигуре.

— Командант штаба Парамон Самсонович Куркин — отрекомендовался он.

Когда мы вошли в халупу, он скинул полушубок. Я увидел, что был Парамон Самсонович в звании старшего лейтенанта и на груди имел два ордена — один старый, с потертой эмалью — за гражданскую, другой — уже за эту войну. Иногда на фронте встречаешь людей, которые так рассказывают о своей жизни или жизни своих однополчан, что стараешься только записать дословно то, что они говорят, и потом, сыскав свои записки, печатаешь их, почти ни слова не меняя в этом рассказе. К таким людям принадлежал и Парамон Самсонович, с его острым взглядом, стариковской опытностью и особым умением веселого и хитрого рассказа, каким всегда отличался старый русский солдат.

Парамон Самсонович достал из кармана гимнастерки большую немецкую расческу и аккуратно расчесал бороду.

— Эту расческу, — сказал он, — мне командир полка Орел подарил. «Вот, — говорит, — на тебе, Куркип, расческу. Никому больше эта расческа не причитается, как только Куркипу, потому что ни у кого больше в полку бороды такой нет». Вот трофеем теперь расчесываю бороду свою. Хотя трофей — это нам дело привычное. Я еще в ту войну в Галиции этих трофеев довольно видел. Я ее всю в пятьдесят третьем казачьем полку провозвал. Я сам из Нижне-Чирской, не из самой Чирской, а из хутора Луговского: большой хутор, хороший. Только на карту почему-то не внесенный, не знаю. Мы уже давно на это обижаемся.

Я на действительную по дватцать третьему году попал, в девятьсот втором. Служил в Ростове. До армии сапожным ремеслом малость занимался, ну, а в армии вовсе сапожником стал. Другой профессии у меня тогда не было, человек безграмотный был. Да и кругом все тоже не шибко грамотные были. И то, иногда вспомнишь, смех берет, что над нами писаря делали. Соберемся, бывало, человек пятнадцать, на случилки сядем и просим: «Иван Петрович, напиши письмо домой». Одному письмо, другому письмо. А он, свкни сын, что хочет, то и пишет: «Дорогие мамаша и папаша, конь мой осопател, чего и вам желаю». А я

же из староверов, мне же неудобно папаше и мамаше такое писать. Так что даже от обиды стал грамоте учиться. Но тогда не одолел, много спустя одолел, уже когда мне под тридцать было.

Сапожничал я много, даже со штатскими сапожниками связался, дружбу с ними держал. Переодетый пошел с ними на демонстрацию, а меня выловили. Больше тридцати суток просидел, как раз перед уходом из армии. Отсидел свое, построили нас, поздравил нас есаул по домам, и поехали мы к себе в Чирскую. А в Чирской атаман опять всех построил и кричит: «Кто здесь есть Куркин?» Говорю: «Я есть Куркин». — «Выезжай вперед!»

Выехал я на одного коня, Долго атаман шумел, меня корил, корил. Потом по домам поехали. Начинается война. Всех казаков берут на войну, а меня не берут. Ну, что же? Я понимаю: наверное, все за эту демонстрацию не хотят меня брать. Но я коня держал на всякий случай, — думаю, еще возьмут меня. И в самом деле, — взяли. Всю германскую войну я на австрийском фронте провоевал. Был у Брусилова, потом в Буковине, в Румынии.

Когда вернулся с войны, друзей в хуторе нашел — Козлова, Мурзина, Свиридова. Стали мы красных партизан собирать. И вот я, рядовой сабельного эскадрона пятьдесят третьего казачьего полка, собрал Луговской отряд и командиром в нем

заделался. И очень это белым обидно было, что именно я командиром, потому что у них командиры — есаулы да войсковые старшины, а тут — простой казак, да еще сапожник. Так они меня все и чехвостили «Парамошкой-сапожником». «Отряд Парамошки-сапожника». Но мы от этого хуже не воевали, что такое прозвание имели.

Сперва я на свой страх и риск воевал. Кругом белые, но от Луганска Климент Ефремович с армией подходил, это нам известно было. За Доном бои шли, а через Дон белыми был мост взорванный. Но плохо взорванный, — один пролет на мелком месте. Решили мы всем отрядом не дать ему еще подорвать на глубоком, чтобы наши скорее восстановить могли и к Царицыну пройти. Тут, когда они подошли, в поябре, и взял меня со всеми моими партизанами Климент Ефремович к себе в десятую армию. Пошли мы, как у казаков водится, со своими копами, оружием, и сделали из нас отряд особого назначения — на фронте дырки затыкать.

Так я и воевал в тех местах всю гражданскую. Я, между прочим, уже тогда с бородой был. Так мне сперва незнакомые часто не верили из-за этой бороды, что я красный казак, а не белый.

Я недавно, перед войной, все те места обошел, где мы воевали, весь поход проделал. Я у себя в Нижне-Чирской отделение музея сделал по обороне Царицына. Ну, вот, как какая экскурсия, так

к Куркину: «Веди, Куркин». Ну, и ведешь, верст сто сорок ведешь. Несколько раз я водил. Особенно с ребятами хорошо, весело с ними, вроде как сам обратно молодой. Вот фотография у меня есть: видишь, связался чорт бородатый с младенцами.

Да, много лет прошло с гражданской войны. Как эта началась, я трех сыновей, — всех, сколько было, — в армию проводил. Первый сын, Михаил, сейчас комиссар батареи, второй, Тарас, лейтенант, — смоленское артиллерийское училище как раз перед войной кончил, а двадцать третьего июня написал, что жив-здоров, так с тех пор больше ни слуху, ни духу нет. А третий сын, — самый сорви-голова, — после десятилетки пошел в школу летчиков. Где сейчас они, где жена — не знаю. Должны быть, по моему мнению, живы. Такая уж у нас природа в семействе — живыми быть. Они, конечно, — молодежь, сыновья, — они меня за старика считали всегда, тем более, что мне и действительно шестьдесят три стукнуло. Ну, а я с самого первого дня все-таки в кавалерийскую часть просился, и мне неприятно. Мне такая в голову мысль пришла: война кончится, спросят меня: «А скажи, Куркин, на войне-то ты был?» Я скажу: «Не был». Очень меня эта мысль мучила. А тут еще как раз из-под Тулы старые товарищи, Сухов и Харченко, письмо мне прислали: мол, где ты, Куркин, если дома сидишь, если тебя письмо застанет, то при-

вет тебе передаем, до скорой встречи, потому что все равно не утеришь, как и мы. А мы уже воюем.

Тут меня уже вовсе заело. Поехал я в Сталинград, в областной военный комиссариат. Там мне опять отказали, говорят: «Ты же, Куркин, семьдесят девятого года рождения». Постоял я, посмотрел на них и говорю: «Вы знаете, между прочим, кому я ровесник?» Они говорят: «Кому?» Я говорю: «А Сталину, вот кому. Сталин — наш верховный главнокомандующий. А вы меня, его ровесника, в простые казаки взять не хотите. На что это похоже? Ни на что не похоже». Они присмireли, помолчали, а потом говорят: «Поезжай, Куркин, к себе в Нижне-Чирскую. Если потребуется, мы тебя в первую голову в виду имеем».

Поехал я в Нижне-Чирскую, а под праздник вдруг приезжает машина, — лейтенант. «Приехал, — говорит, — за пополнением в казачью дивизию». Ну, тут я обрадовался. Собрал первым делом своих партизан, с которыми в гражданскую заворачивал, — и дело загремело. Сидят все у меня за столом, — у меня хата просторная, — сидят и пишат. Тридцать человек собрались, записались. Ну, и молодые некоторые, которые еще не забрали в армию были. Дали нам колхозы денег, копей выводку — тридцать верховых, шесть упряжных, — седла нам поларили, обмундирование справили, и шестого марта выехали мы через степь

ти. И так ползешь, что аж грязь в голенища залезает: до того к земле прижмешься, думаешь, хоть бы голову спрятать. Лопаточки-то мы, конечно, на первых порах побросали, потому что гордость была: как же, казаки мы, на что нам лопаточки! Впоследствии привыкли к лопаткам, стали брать и даже очень уважать.

Бились мы под Дукаревой Балкой, под Степной, под Куцевкой, под Белореченской, под Линешной, в ущельях по дороге на Туансе. Под Куцевкой много коней потеряли. В ущельях, на высоте сто десять, дюже много людей потеряли. Никогда я не забуду этой чертовой высоты. Начальник штаба у нас тогда — Бучнев, Портянский — капитан, Мыгарев. Не можем мы забыть таких командиров, каких потеряли на высоте сто десять, и особенно капитана Подчеркова, который застрелился, не пережив того, что он в плен попасть может. Мы потом, на другой день, это место отыскали и его похоронили около совхоза.

У нас тогда командир полка Орел был. Это фамилия его была, но он и в самом деле орел. Не было перед ним никогда того, чего бы он не взял. В усах ходил. В гражданскую войну мальчишкой прислужился к какой-то части, так в армии с детства и остался. Помню, под Куцевкой шел он впереди нас без фуражки, — пулей сбilo. «Все равно, — говорит, — возьмем эту высоту. Так их и так». И взяли.

Я в том бою двух раненых лейтенантов из-под огня вынес. Один мне говорит: «Не поднимешь, дед, оставь». Я говорю: «Подниму». И донес.

В том бою, вначале, глядим мы с пригорка, видим: вроде танки. А у меня оплохь ворошиловский, дареный, был. Гляжу в него и вижу: действительно — танки спускаются на нас с горки. Ну, предупредил наших. Бой тут был. Погиб тут у меня старым знакомым Тимошин. Самый старей в полку казак был. Он в моем отряде в дивизию ехал. Шестьдесят семь лет ему было, но такой озорной старик, — хоть куда. Когда танки отбили, против немцев в контр-атаку пошли, он тут и подзадержался немного, потом выскочил впереди всех на голое место, на камень. Сел — и задом к немцам, лицом к нашим, задохся малость, по-стариковски, и кричит охрипнувшим голосом: «Ну, чего вы легли? Скорей, тудыть вашу мать, поднимайсь, на немцев иди». Тут его как раз и убило. Хороший был казак, разговором своим да прибаутками на всю Нижне-чирскую известный.

Многие из тех, что со мной ехали, в этих боях пропали или в лазарет пошли. Алощенко, старей партизан, раненый был, Попадский, тоже партизан, Соломатин. Кого жалко, так это жалко Кукину. Молодая казачка, — восемнадцать лет всего. Со мной поехала. Убило ее пулей, когда раненых перевязывала в бою.

Но кто бы из нас ни пропал или в госпиталь

ни ехал, а знамя, которое было нам врученное при отъезде из Нижне-Чирской, хранится у меня и все идет с нами, потому что мы слово дали, что под этим знаменем пройдем и вернемся живыми. Но у нас не только это знамя. У нас мне лично, Куркину, на хранение поручено знамя Сталинградской области. Оно переходящее, говорят. Но я так сказал: раз оно в наш полк попало, ко мне в руки, то хоть оно и переходящее, а больше не перейдет. Это уж так будет. Точно.

Ничего казаки дрались. Хорошо дрались. Но отступить приходилось. Тяжело мне было переживать это отступление. Беглецы иногда попадались. Глядеть на них было тяжело. А еще тяжелее было, когда едем через станцию, а казачки стоят и плачут. Они молоком нас кормят и вареником и плачут, бедные. И до того тяжело на них глядеть, — тяжелее, чем когда в голом поле за тобой танки гонятся.

Тревожные были дни те. Я во время них никак заснуть не мог. Вообще не мог заснуть во время опасности боя. Меня уже за это ругали: «Поспи, Куркин». Но я не мог заснуть, так как чувствовал себя, как самый старый солдат, общим хранителем. Другой и поспать может, а мне нельзя — совесть не позволяет.

Тяжело было говорить нам «до свидания» Дону, и не мало все-таки слабых душой людейшек окзалось. И глядеть на них не хотелось. Ну, кто

сильнее душой был, тот шел и так воевал, как никогда в жизни не воевал. Среди такой смерти был, что кажется, и живым не останется, а все ж таки оставался живым.

Осенью нас с одного места на другое перекинули. Через перевал было идти тяжело. Уж очень за коней я страдал: нечего им кушать было. Шли мы, шли, и один случай мне в память запал, не могу забыть. Едем мы через перевал, тропка узкая, и вдруг — обоз на пшпаках, и видим мы: обозом этим командует любимый папа казак Зайцев, лейтенант. Он у нас два месяца назад раненый был, и вот пропал. А теперь идет, с обозом, идет нам навстречу. Встретил нас и заплакал, потому что хочет он к нам обратно в полк, но нельзя. Засмолили его в этом обозе, не выйти из него к нам — сил нет, а выйти — дезертиром будешь. Так встретились и разошлись. На душе даже тяжело было. Я за это болею, что хоть и гвардейская наша часть, а все же никак раненый казак обратно не попадет, редко ежели попадет. То, что лютей раят, в этом печали нет, потому что война. Но то, что не возвращаются они в свой казачий полк, — вот в чем печаль. Теряется наша дружба, наша братская любовь. Вель когда я знаю командира и он меня знает, вель это же сила. У нас исчезают люди незнамо где. А вель до чего же радостно человека знакомого встретить, подумайте только. Какой восторг у него, что и за рану

он немцам отквитает, и у всех восторг, что его обратно увидели. А то разве один Зайцев? Печаль просто. То одного, то другого встретишь; и он в пехоте, а то и вовсе, глядишь, в обозе. А вещь в то же время бывало, нам часто таких посылали в пополнение, что и конского хвоста никогда не видали, не то что коня. Проедет десять верст, холку набьет, потрет коня.— и старается, а не может. А как казак в пехоте скучает! Я так считаю: нужно людям маршрут давать, чтобы шел в свою часть. Ну вот, оторви меня, например, от коня, я в пехоте и кушать не буду, до того тоска возьмет. А кавалеристом быть — это вещь не просто: сел на коня, да и поехал. Надо уметь, конем владеть, вот что я про это думаю. Нельзя так, как у нас сейчас.

Так, значит, я про перевал говорил. Перенгли мы перевал и под Моздок попали. Там такое место унылое, буруны, снег да ветер. Только окоп выроешь, уже степных крыс полно, — бегают, проклятые. В общем, хлебнули там горя, пока стояли. Хотя на горе ссылаться нельзя, потому что война: в ней без горя не обойдешься, много его перенести надо.

Под Моздоком долго бои с переменным успехом были: то они нас, то мы их. Мне там в руки, между прочим, вот этот автомат достался. Раз я в соседнюю дивизию с пакетом ехал. А там между нашей и ихней дивизией какая-то еще часть за-

тесалась и задержала меня. Часа четыре протер-жалли, все сомневались, что я за человек. Потом отпустили. А потом дён через шесть пемпы на-жалли тут, ну и эта часть, как говорят, слегка на попятный пошла. Задержал я там одного авто-матчика (как раз из тех, что меня шесть дён назад задерживали), говорю ему: «Куда идешь?» Он говорит: «Куда надо, иду». Я говорю: «А что это у тебя?» — «Автомат». — говорит. «Вот. — го-ворю. — не впитал, чай поглядеть». Ну, он и дал. Я говорю ему: «Ну, а теперь с автоматом про-стись. Поскольку ты в тыл идешь, то тебе авто-мат не пужный, а мне с ним воевать надо». Так я и отнял у него автомат. Вот он. Отнял и ска-зал: «Вот вы меня, назад шесть дён, разоружить хотели, а теперь я вас разоружаю по поводу того, что вы в тыл драпаете». Я самоуправства учинять не стал: стрелять их или что. Я по ко-манде сообщил, и их к вечеру на место вернули, со стылом. Всяко бывает. Иной раз люди малоду-шие покажут, — день за день не приходится. К этому я за вторую войну вполне привык.

По мне степь под Моздоком не этим памятна, она мне тем памятна, что от Моздока и до сих пор мы сквозь шли с боями. Тяжелые бои были. Погиб у нас первый командир полка полковник Орел, погиб второй командир полка майор Кузнецов, потом танками мы были окружены, — против пятидесяти танков полком бились. Все полковые

пушки были раздавленные, и все ж таки отбились и дальше пошли. Мне командир полка тогда, помню, говорит: «Иди ты, ради бога, Куркин, куда-нибудь, убьют тут тебя к чертовой матери». А я ему говорю: «А что же, моя жизнь дороже вашей? Я же вам не говорю, чтобы вы шли, спасались». Он замолчал, потому что, может, и против дисциплины я сказал, но по-стариковски. Он мне это простил, потому что прав я был.

Многие наши в последних боях погибли, долго всех поминать. Ну, это уже так: хоть и грусть берет, а без этого нельзя, потому что умел отдавать свою землю, умей и обратно брать, хотя бы и живот свой клади за это, — ничего не сделаешь.

Так вот, из Моздока сюда без днейок, без привалов больше восьмисот верст отмахали. А когда здоровье есть да копь под тобой, — я это люблю. Натура у меня жесткая. Нет тебе ни старухи, ни семейства. Иду я, никто мне не мешает, не папоминает. Не люблю я эту переписку, чтобы письма эти были и все прочее. По-моему так: сел на копя, живи и воюй.

Сейчас меня вот уже два месяца комендантом штаба сделали, чтобы я, значит, в полку порядок наблюдал, — по-хозяйски, по-стариковски. Разные дела у меня сейчас, всех не перечесть. Сегодня все утро на то потратил, что из балки одну семью с детёнками подволой вывез. Тут кругом немцы деревни пожгли. Так они, бедные, с пе-

репуту пять дён в балках сидели. Привез их. Не знаю, может, немца вообще и терпимо в плен брать, но этих уж, что со значками, что добровольцы они, всех бы их просто в Крутую балку загнал и пожег: нестерпимо мне на них глядеть.

А за порядком наблюдать — это хлопот много, потому что не все у нас казачье воспитание получили. особенно если про коня говорить. Поговорка есть такая про казаков: каков на коне, таков и на гумне. И я по этой поговорке сужу. Я сильно люблю и жалею коня, я всегда. — может, кому и не нравится, — даже ночью пойду, проверю, как конь содержится, и если пойду по полку и вижу, что время есть, а кони пераседланные стоят, то я этого не оставляю. — душу за это выну. Конечно. и то надо сказать: третья война на моих глазах проходит. Сооставляю я боевую обстановку и вижу, что переживающа сейчас всего тяжелее. Устают люди. Подходяшь к казаку, спрашиваешь: «Почему конь грязный. седло не почищено. оружие грязное?» А сам видишь: усталый, бедный. Но спрашиваешь и тягаться заставляешь. И не только за коня. — за то, что сам ежели казак невымытый, небритый, не по форме, тоже гоняю, потому что человек почти всегда помыться может. Хоть как-нибудь, а может. Это редкий случай, если не в состоянии он.

Хожу я. слежу, не сплю. Ночью закрою глаза, подремлю полчаса, потом иду посты проверять.

Как себя держать на посту, молотым казакам объясняю, с гибелью Чапаса пример привожу. «Почему Чапаев.— говорю.— погиб? Потому что часовой заснул. А ведь полководец был, как бы он сейчас воюет! И через то, что раззява попался нет его сейчас среди советского войска».

Мне так командир сказал, когда комсуплатом штаба назначал: «Тебе это, Куркин, почетная должность дана, и я с тебя спрошу, чтобы казак обмытый, чистый был и чтобы конь в поятке был». Ну, я и слежу. Я сам считаю: на войне главное, чтобы конь под крышей был и казак сытый, чтобы казак отохнуть мог, чтобы ежели у коня шипов нет, некованый он, по дороге его не вестт.— по тропке гуать, по мягкому. Чтобы все так было, как для войны сподручнее, для боя. Вот так и воюем, держим дисциплину.

Жизнь в последнее время — не стану гуать по старости лет.— конечно, не легкая. Переход идешь,— холодно, ведешь коня в поворот. Зайдешь в деревню, деревня сожжена. Попятешь на камешек, зачремишь, а он поттаст под тобой, спать не дает,— может стапет, прослешься. С этим я сам осторожность соблюдаю и других учу, потому что в снег лечь — это не хитрость, а хитрость со снега встать. Казак здоровым должен быть. Я так на это смотрю: если казак заболел, значит, хранил себя плохо.— сам виноват, что из строя вышел. А если без причины на-

стоящей из строя вышел, значит, все равно, что дезертир.

Вот бьемся сейчас под высотой этой. Пожар все немец кругом, мучаемся.— погреться негде. Конюшны с конями в степи замерзают. А какой из этого выход? Взять высоту, пройти дальше вперед так, чтобы на деревни пожар не успел. Вот и все. Другого выхода нет. Значит, салить ли на копы или в пешем строю, по или вперед, воюй. Так и все, так и Куркин. Только такую жизнь я и продвигу вперед.

Вы в Москве-то будете? Если будете, то просьба у меня к вам. Меня и Климент Ефремович и Шатенко Ефим Афанасьевич знают. Скажите им, что Куркин не на печи сидит, что воюет он. Вы,— я телефона не знаю, так узнайте уж.— позвоните Шатенко Ефиму Афанасьевичу, скажите, что Куркин привет ему передает, воюет, бороду свою по Кубани, по Дону разматывает.

ТРОЕ СУТОК

Сегодня бой разгорается с новой силой, и примерно через каждые пять минут стены избы вздрагивают от грохота отдаленной бомбежки. Немцы бомбят и слева и справа от деревни оба перекрестка дорог.

Но танкисты пойдут в бой только завтра: сегодня они отдыхают после танкового рейда. Передо мной сидит человек среднего роста с молодым, но уже усталым лицом, на котором, помимо его воли, отражаются нечеловеческие испытания, бессонные ночи, привычка к рядом идущей смерти,— все, что уже двадцать месяцев сопутствует людям, с первого дня пошедшим на войну. Когда он, разговаривая со мной, пытается по южной привычке жестикулировать, он иногда неожиданно слегка морщится от боли, потому что он ранен в обе руки,— в кисть одной и в локоть другой. Пальцами правой он еще кое-как шевелит, а левая бессильно висит на перевязи. Тем не менее он говорит, что завтра или послезавтра пой-

дет в бой, как будто обе руки должны, обязаны непременно зажать в течеппе одной или двух по- чей. Поодаль на табуретке сидит ординарец и не- ловко, не с той руки, по-мужски продевая нитку в иголку, пришивает своему лейтенанту погоны к просалепной серой тапшикетской гимнастерке.

Лейтенант Чистяков — мой ровесник. Он родился двадцать семь лет назад, в том же году, что и я, он долго жил в том же городе на Волге, что и я — он мой земляк, и если я не проделал с ним вместе танкового рейда, не просидел трое су- ток, не вылезая из танка, и не пережил всего того, что пережил он, то все-таки я как-то осо- бенно ясно представляю все, что он чувствовал в это время. И-когда он, рассказывая, горячится. мне кажется, что я так же горячился бы на его месте, и когда азартные искорки мелькают в его глазах, мне кажется, что это не только его азарт, но и мой, потому что мы с ним учились вместе, в соседних школах, ходили по одним улицам, пере- плывали Волгу и покупали арбузы на стук и на вырез на волжских пристанях.

Как водится между людьми, которые могут вспо- мнить войну с самого начала, мы так и вспоми- наем ее с июньских дней 1941 года, мы вспоми- наем то один фронт, то другой, то города, из ко- торых мы ушли и пока еще не вернулись, то го- рода, в которые мы уже вернулись и из которых никогда больше не уйдем.

Но больше всего Чистяков вспоминает о последних трех сутках, — о трех сутках, после которых он еще не выспался, после которых у него еще темные круги под глазами, усталое лицо и не успевшие еще зажить руки.

Трое суток в танке... Глубокий танковый рейд передового отряда, — то самое, что так любили в начале войны немцы, то самое, чем они — чего-то тухла тухла, — в первые месяцы войны часто приводили нас в замешательство, то самое, что сейчас, в дни наступления, так часто решает победу и приводит в замешательство уже не нас, а их, немцев, у которых мы кое-чему научились и научились так хорошо, что сейчас пятьсот километров по прямой отделяют меня от Сталинграда, где всего еще в сентябре я сидел в одиночку на самом берегу Волги, потому что в этом месте до немцев на Волге оставалось хорошо, если километр.

Рейд начался утром. Танки Чистякова разгрузились около небольшого ночью взятого городка. У него было десять приземистых, прочных, излюбленных и танкистами и пехотой машины 1-34, или иначе — «тридцать четверок», как их запросто привыкли называть в армии. Четыре экипажа уже воевали, шести предстояло пойти в первый бой, предстояло в первый раз драться так, как приходится драться танкистам, беспощадным к врагу, беспощадным к себе — или пройтись и победить,

или остановиться и умереть, потому что у танкистов обычно бывает только или то или другое.

Командир бригады майор Овчаров, — тоже ровесник Чистякова и мой, в недавнем прошлом филолог, а сейчас загорелый старый солдат, — дал Чистякову маршрут следования и приказ, который, как это обычно бывает в дни наступления, не отличался излишним многословием: пять немцев и не отрываться от них ни на шаг.

— Не отрываться, — сказал Овчаров Чистякову. — Понимаешь, не отрываться, — это главное, чтобы духу не могли перевести.

И Чистяков почему-то в эту минуту вспомнил школу и занятия спортом и представил себе немцев, которые словно бегут по стадиону в расчете на стометровку, но, когда у них уже кончилось дыхание и сто метров подошли к концу, им нужно бежать еще сто метров, а потом еще сто метров. И он подумал, что вот именно так он их и заставит бежать, пока они не упадут под гусеницами его танка.

Чистяков дал своим экипажам старую мужественную команду танкистов: «Делай, как я», потому что радио, конечно, хорошая вещь, но командир, вырвавшийся на танке впереди своей роты, — это лучше всякого радио, и команда «делай, как я» — лучшая из всех команд, которые придумали до сих пор солдаты.

Вздымая за собой осколки льда и крупные брызги воды, танки по размокшей южной дороге прошли уже около десятка километров. На девятом или десятом километре они догнали первых немцев. Немцев было человек четыреста. Они шли по дороге колонной, и, когда из-за пригорка появились танки, поле огласилось беспорядочными выстрелами из винтовок и короткими очередями пулеметов. Влево и вправо от дороги по полю бежали, ложились, приседали немцы. Одни стреляли, другие просто падали плашмя, обхватив голову руками, и ждали, когда смерть пройдет по ним или мимо них. В ту минуту времени, которая отделяла танки от немцев, Чистяков не стрелял. Танки молча проскочили эти полкилометра, и, только когда они врезались в бегущих немцев, Чистяков начал стрелять из пулемета. Он прошел слишком много сожженных городов и испепеленных сел, он видел слишком много измученных, обнищавших, потерявших все на свете людей, он видел слишком много виселиц и тюремных стен, около которых валялись расстрелянные, — он видел слишком много русского горя, чтобы сейчас на дороге, давя немцев гусеницами своего танка, думать о человеколюбии, о жалости или пощаде. Как солдат, он выполнял приказ: он убивал немцев. Но и просто, как человек, он тоже не жалел их, совсем не жалел. Это чувство исчезло из его души еще в июле, в августе 1941 года, еще то-

гда, когда немцы брали Смоленск, когда они топтали поля Украины, еще тогда, когда настоящая, полная, кровавая месть казалась не такой близкой, как сегодня.

В танке все гремело, ревел мотор, стучал пулемет, и, кроме этих звуков, ничего не было слышно вокруг, и в толстые стекла панорамы были видны только беззвучно стреляющие, беззвучно падающие, беззвучно кричащие немцы. Через пять минут оставшиеся в живых подняли руки. Они подходили к остановившимся танкам, бросив на землю винтовки и пулеметы, и даже сквозь помутневшие стекла были видны их глаза, полные ужаса.

По приказу Чистякова с танков слезли пять автоматчиков и быстро, уже теперь привычно, построив пленных, повели их назад, по дороге, уходившей на восток.

Перед тем, как дать команду следовать дальше, Чистяков поднял крышку люка и посмотрел вслед немцам. Они шли серой толпой, как-то сразу согнувшись, потеряв свою обычную выправку, и цвет их серых шинелей сливался с цветом дороги и с серым цветом грязного, истоптанного снега. Он смотрел на них несколько секунд, потом повернулся и подал команду, и танки пошли дальше.

Сначала слева и справа от дороги тянулось ровное поле, потом поле стало опускаться, перешло в уклон, и здесь, спускаясь с пригорка, танки по-

пали под артиллерийский огонь. Самоходное немецкое орудие стреляло метров с шестисот. В ложине стоял сизый, все еще не разошедшийся с утра туман, и Чистяков видел только мелькавшие одна за другой вспышки орудия. Он два или три раза ударил в этом направлении осколочным снарядом и потом с полного ходу повел танк прямо на пушку. В эту минуту он был уверен, что не его убьют, а убьет он. Ему хотелось непременно дойти и раздавить пушку гусеницами или расстрелять в упор, с тридцати, с двадцати метров, и все-таки потом наехать на нее и пройти через нее, почувствовав, как танк всей своей тяжестью переползает через раздавленное немецкое железо. Он с ходу выстрелил еще несколько раз, и, когда танк подошел вплотную к окраине деревни,— там, где у каменной южной стенки стояла пушка,— Чистяков увидел, что расчет орудия убит одним из снарядов. Но он уже не мог удержаться и переехал через эту пушку прежде, чем ворваться на улицы села.

Он ворвался в деревню первым, на полминуты раньше остальных танков. По улице ехало несколько подвод. Он переезжал через подводы и, стреляя, повернул сначала налево, потом направо, разгоняя разбегавшуюся по сторонам пехоту. За деревней дорога снова поднималась на холм. Холм был крутой, и Чистяков хорошо видел, как по грязной дороге медленно, с трудом, буксую, ползут

в гору немецкие грузовики. Проскочив через мостик, Чистяков слева обошел машины, взобрался на гору раньше них и теперь, поднявшись на гребень холма, почувствовал себя полным хозяином положения. Вслед за машинами на гору врассыпную взбиралась пехота. Из пушек и пулемета он открыл огонь по пехоте. Машины тоже были совсем близко. Они заметались, пытались повернуть на скользкой крутой дороге назад, забуксовали и встали. Чистяков не стрелял по ним. Он почувствовал, что с него схлынул уже первый азарт боя. Машины все равно не могли уйти, и, как им хотелось обрушиться на них сверху и раздавить их, вмять в землю, он не сделал этого, потому что десяток целых грузовиков — несравненно лучший трофей, чем десять вдавленных в землю лешек из обломков дерева и железа.

Остальные танки колесили по деревенским улицам. Спешившись у околицы, автоматчики вылавливали по дворам немцев. Теперь, открыв люк и выбравшись на минуту на свежий воздух, Чистяков слышал выстрелы и крики и весь этот отрадный для сердца растерянный пвалт немцев, — тех самых немцев, которые когда-то так надменно, так спокойно колесили по этим дорогам на своих черных, казавшихся им неуязвимыми машинах.

Через полчаса десять танков Чистякова прошли по маршруту к следующему селу. Перед селом по

глубине холмов тянулась линия немецкой пехотной обороны. По команде «делай, как я» все десять танков стали взбираться на холмы и, вырвавшись на плато, начали давить пехоту. Немцы стали поднимать руки. Чистяков открыл люк и поднялся для того, чтобы приказать остановить огонь по немцам. В эту секунду, — вернее, в десятую долю секунды, — он заметил, что стоявший совсем рядом с танком немецкий офицер в одной из поднятых рук держит револьвер. Чистяков мгновенно отклонился в сторону, и пуля просвистела у него над ухом. Он захлопнул люк, и пулеметной очередью перерезало не успевшего упасть офицера. Потом он снова поднял люк. Немецкие солдаты сдавались. Танки, в ожидании автоматчиков, которые еще шли за танками из села, танки с открытыми люками ездил вокруг немцев. Наконец подошли автоматчики. Чистяков приказал остаться еще десяти человекам для конвоирования, а остальные сели на танки, и танки двинулись к следующей деревне.

Чистяков снова оторвался от остальных и въехал в деревню первым. Он проскочил всю ее насквозь, раздавив по дороге какую-то штабную машину, и на центральной площади попал под сильный артиллерийский огонь, сначала с одной стороны, потом со всех четырех. Несколько снарядов, не пробив брони, ударились о башню. Чистяков развернулся и, стреляя с ходу, по краю

деревни пошел обратно к своим танкам. Спаренный с пушкой пулемет не работал — одним из снарядов у него отшибло ствол. Командир бригады, встретив Чистякова на окраине и увидев, что он возвращается из деревни, спросил, что там происходит.

— А ничего такого, товарищ майор, — сказал Чистяков. — Четыре орудия бьют.

— А где? — спросил майор.

Чистяков показал на четыре примерно засеченных им точки. Шесть его танков пошли в обход деревни, а он вместе с тремя остальными ворвался в деревню прямо по улице. Четыре орудия были раздавлены одно за другим, но в башне стоял грохот, и Чистякову казалось, что голова его разламывается, словно по ней несколько раз ударили тяжелым молотком. В эти последние минуты еще три снаряда ударили прямо в башню, не пробив ее, и хотя танк был почти не поврежден, но тяжелая, свинцовая головная боль давила на глаза, на уши, и казалось, что она никогда не пройдет.

Выскочив из деревни, немецкие автоматчики разбегались по полю, прятались в стога, и танки, подходя поочередно то к одному, то к другому огромному стогу, зажигали их осколочными снарядами. Немцы выскакивали из горящих стогов и бежали снова по полю. Их расстреливали из пулеметов, и Чистякову уже казалось, что для его

танка этот бой окончился благополучно. Его башенный стрелок, чтобы зря не жечь один из стогов, выглянул из башни посмотреть, есть ли там немцы. В эту секунду сидевший в стогу немецкий автоматчик дал длинную очередь, и стрелок упал мертвым, свесившись через край башни. Чистяков втащил его внутрь, закрыл люк, на место башенного стрелка сел радист, и они, подойдя вплотную к стогу, зажгли его и безжалостно расстреляли всех выбежавших оттуда немцев.

Оставшиеся в живых немцы бежали по полю. Увлечшись погоней, Чистяков на своем танке въехал в гору, потом перевалил через нее и подъехал к кладбищенской ограде, когда дуда выстрел за выстрелом подряд несколько раз ударила противотанковая пушка. Одним прямым попаданием в башне сделало глубокую вмятину, другим оторвало кусок брони. Чистяков навел орудие и удачным выстрелом, попавшим прямо под колеса пушки, разбил ее. Потом он развернулся и въехал обратно. Автоматчики, охраняя танки, обходили деревенские улицы, ловили еще кое-где оставшихся немцев, а в это время танкисты по приказу Чистякова заливали в свои машины бензин из только что догнавших их бензовозок. Вместе с бензовозками подъехала кухня. Потные, оглохшие танкисты вылезли из своих машин и, столпившись у кухни, наспех поели горячего супа. Перед супом повар из большого жбана нацедил им в фляжки и

в кружки гвардейскую порму. Пока в машины — в одну, потом в другую, в третью по шлангам переливали бензин, люди в первый раз за эти сутки спокойно перекуривали и обменивались короткими отрывистыми замечаниями о только что окончившемся бое.

Чистяков посмотрел на часы и с удивлением заметил, что прошли ровно сутки. Уже начинало светать. Но усталости не было, даже не клонило ко сну, — мучила только одна неотвязная головная боль.

Перекурив, сели в танки и пошли по маршруту дальше. Перед большим селом, между пригорками, вилась река. Стали ее форсировать напрямик, ломая гусеницами лед. С окраины деревни били орудия. Ломая лед и перебираясь через реку, танки задержались, и здесь Чистяков понес первую потерю: задний слева танк Нысаева был сожжен в двадцати метрах от него. Теперь осталось девять танков. Они переползли через реку и напрямик пошли в гору. На вершине горы стоял хорошо видный сарай, откуда била целая противотанковая батарея. Все танки разом сосредоточили огонь на этом сарае. Сначала он загорелся, потом в нем начали рваться снаряды, и батарея замолчала. Здесь были взяты в плен еще пятьдесят человек пехоты, и снова несколько автоматчиков отделались и повели колонну пленных.

Уже стоял день. На улицах села толпились жи-

тели. Чистяков ехал, открыв люк и махая рукой стоявшим по обеим сторонам людям. Вслед за ним ехали его танкисты, тоже открыв люки, тоже махая руками, кивая, говоря какие-то слова; неслышные за грохотом гусениц. Грязный, замасленный Чистяков вылез посредине улицы из машины, и несколько девочек, толпившихся у танка, стали обнимать Чистякова и целовать его небритые замасленные щеки. Старухи приносили куски горячего, дымящегося вареного мяса, домашние коржики. Где-то в сараях спешно, внеочередно доили оставшихся коров и тащили к танкам парное молоко.

Через полчаса подошли бензовозки, танки снова заправились горючим и, не отдыхая, двинулись дальше, к следующему селу. Прямо перед танками тянулась цепь высоких холмов, сильно укрепленных немцами. Чистяков приказал свернуть на полкилометра по дороге назад, забраться в глубокую ложину и по ней, километров на семь обойдя холмы, зашел с танками с другой стороны. На перекрестке неезженных, занесенных снегом дорог Чистяков остановил машину около маленькой избышки.

— Хозяйка! — крикнул он, стараясь перекрыть шум мотора.

Из избышки долго никто не появлялся. Потом из двери выглянула высокая седая старуха. Она, приложив ладонь козырьком к глазам, долго смо-

трела на танки, словно не веря, что здесь могут оказаться свои, и вдруг, всплеснув руками, побежала к танку Чистякова, прижалась к броне, дотянулась руками до его рук и, так и держась за него, стала говорить:

— Милый! Сынок! Сынок!..

Она десять раз повторяла это слово. Потом, успокоившись, хлопотливо и долго объясняла им, как лучше обходом проехать на следующее село, и Чистякову казалось, что, только скажи он, и старуха вместе с автоматчиками сядет на его танк и поедет провожать его в бой, куда угодно.

Начинало темнеть. К ночи окольными путями танки въехали на грейдер, ведущий к селу. Здесь, на перекрестке, они остановились: надо было заправиться бензином, и приходилось ждать свои отставшие где-то бензовозки. Поднялась сильная мокрая метель. Снег засыпал танки, и когда танкисты, чтобы подышать свежим воздухом, выби-
рались на башни, снег мгновенно покрывал их шлемы, их разгоряченные, потные лица. Здесь, только здесь, во время этой невольной остановки, Чистяков почувствовал, как он устал. Он почувствовал это не сразу. Сначала он увидел, как на соседнем танке спит башенный стрелок, стоя, прислонившись к открытой крышке люка, в положении настолько неудобном, что в нем может спать только смертельно усталый человек. Чистя-

ков вдруг почувствовал, что он вот так же сейчас может заснуть в ту же секунду, как только закроет глаза. Но всем сразу о сне не приходилось и думать, и он приказал спать по очереди. Полтора часа под непрерывно сыпавшим снегом люди по очереди дремали, кто прямо в танке, кто на башне. В то время, как одни спали, другие оставались на страже и следили за дорогой. Через полтора часа подошел бензин, и танки, пройдя еще несколько километров, в глухую ночь ворвались на улицы села. Это было уже в глубоком тылу, и ничего не подозревавший гарнизон спал по домам. Шло отступление, и все улицы были забиты стоявшими у домов машинами. Всего Чистяков насчитал их до ста пятидесяти. Улицы были настолько забиты, что танки не могли пройти, и, чтобы расчистить себе путь, как ни жаль, пришлось раздавить десятка два машин.

На танке у Чистякова вместе с автоматчиками все время ехал командир подбитого танка из другой роты, лейтенант Хлопов. Он не захотел остаться в тылу и, когда подожгли его танк, попросился на танк Чистякова, чтобы, хотя и без машины, просто с автоматом в руках гнаться за немцами. Здесь в бою, на улице, он был убит наповал выстрелом в грудь в ту минуту, когда вместе с несколькими бойцами освобождал запертых в сарай наших военнопленных. Здесь, в селе, возвратились к своим триста пострадавших. изму-

ченых, почти потерявших человеческий образ людей, которых в последние две недели немцы гнали все глубже в тыл, убивая по дороге оставшихся. Когда они высыпали из отпертого сарая на улицу села, то их вид был так страшен, что Чистякову с большим трудом удалось удержать своих танкистов и автоматчиков от немедленной расправы с захваченными в плен немцами.

Бой в селе кончился под утро. У танков собрались жители и, забрав с собою то одного, то другого автоматчика, лазали по хатам, по сараям, вылавливая оставшихся немцев. Пришел старик, у которого в доме стоял немецкий комендант, и рассказал, что все обмундирование, оружие, документы, шинель, сапоги, фуражка — все осталось у него на квартире, потому что комендант сбежал в одном белье. Так и осталось неизвестным, удалось ли убежать коменданту или он был убит, потому что среди трупов, валявшихся на улице, добрая половина была именно в таком же виде, в каком сбежал комендант. И на квартире действительно все было в полной сохранности, начиная от фуражки и сапог и кончая расставанными по карманам мундира документами.

Подморозило. Был ясный, солнечный день, и здесь, в селе, танкисты второй раз за все это время перекусили. Правда, кухня отстала. Но не говоря уже об угощении, которое наперебой предлагали жители, танкисты воспользовались взяты-

ми трофеями — согрелся немецким коньяком, пожевали шоколад, больше из любопытства, чем из удовольствия, затащились по нескольку раз вонючими немецкими сигарами и снова, посадив на танки автоматчиков, двинулись дальше.

В следующую деревню ворвались уже после полудня. Она тоже была набита отступавшей немецкой пехотой. Но здесь, издавек заслышав грохот танков и видя, что им все равно не успеть, немцы не рассыпались, как обычно, кто куда, а попрятались по хатам. Чистякову было непереносимо жаль бить из орудий по этим русским хатам, где вместе с немцами сидели запертые изнутри жители. Пришлось пойти на жертвы, и, пока танки встали на улицах деревни, охраняя всеходы и выходы, автоматчики без артподготовки с боем одну за другой начали очищать от немцев хаты.

Здесь, открыв люк и приподнявшись для того, чтобы лучше осмотреться, Чистяков был ранен в кисть правой руки. Он захлопнул за собой крышку и, не вылезая из танка, дотянулся до аптечки и наскоро перебинтовал пальцы.

Теперь, по дороге к городу, который в этой операции был конечным пунктом, оставалось одно главное препятствие — полоса укрепленных холмов, на которых немцы, очевидно, решили задержаться. Развернувшись большим полукругом, танки двинулись к холмам. Три танка по приказу Чи-

стякова ворвались в маленькую, лежавшую у подножья холмов, деревушку и там, неожиданно для себя, захватили не успевшие сняться с позиций две дальнобойных сверхмощных пушки, из которых немцы еще вчера обстреливали далеко отстоявшую отсюда линию фронта.

Холмы атаковали поздно вечером, почти ночью. Целый фейерверк огня опоясывал их. Немцы стреляли из винтовок, из пулеметов, из крупнокалиберных пулеметов, из орудий, и, словно точки и тире, тянулись прерывистые цветные цепочки пулеметных очередей, и огненными слитками со свистом пролетали дальнобойные снаряды или, как танкисты говорят, «болванки». Но танки, вместе со следовавшими за ними автоматчиками, опять ползли на холмы. Холмы сильно обледенели, и, добравшись до середины их крутых склонов, танки «юзом» съезжали вниз. Приходилось взбираться снова, преодолевая гололедицу, карабкаясь вкось, наперерез профилю холмов. У Чистякова в первые же минуты боя погиб прорвавшийся вперед экипаж Родионова. По ним прямой наводкой била немецкая пушка. Они пошли на нее и, не дойдя десяти метров, взорвались на прикрывавшем ее минном поле. Но водитель на таком ходу гнал танк, что тот, уже подбитый и с мертвым экипажем, по инерции пролетел эти десять метров и, раздавив пушку, рухнул на нее. Уже взобравшись на гору, подорвался на минах

экипаж Сальманова, потом сгорел танк Бобкова. Сам Чистяков перед этим раздавил одну пушку. Свирепый огонь со всех сторон буквально оглушал его. В машину было еще пять прямых попаданий. Один из бронебойных снарядов так и застрял в двойной облицовке башни. Но танк продолжал идти. Но шесть экипажей взобрались на холмы и, раздавив и расстреляв дюжину пушек и крупнокалиберных пулеметов, перевалив на ту сторону, двинулись к городу.

Стояла темная ночь. Близился рассвет. Подходы к городу не были разведаны, и, пока вперед двинулись разведчики, танкисты остановились, ожидая рассвета. Но танк молодого, всего третьи сутки участвовавшего в бою лейтенанта Ермохина, не успевшего получить это приказание, смаху влетел на улицы города и всю ночь бродил по ним. Чистяков, несмотря на страшную усталость, не мог сомкнуть глаз. Он слышал, как танк то, ворча, шел по улицам и стрелял, то вдруг у него глох мотор, и у Чистякова сжималось сердце, — ему казалось, что с Ермохиным все кончено. Танк снова начинал ворчать, снова раздавались выстрелы из пушек и пулемета, и танкисты, собравшись в кучку, прислушиваясь, говорили: «Жив».

К рассвету минные поля были разведаны, и танки, вместе с утренним туманом, ворвались в город. Ермохин, у которого была разбита пушка, стоял со своим танком на одной из окраинных

улиц и, словно салютуя друзьям, яростно строчил по немцам из пулемета.

Через час все было кончено: танки Чистякова и подошедшие к городу по остальным дорогам другие танки прочесали город насквозь, и только автоматчики доколачивали еще дравшихся кое-где на улицах немцев. Чистяков вылез из танка и прислонился к стене дома. На секунду ему показалось, что сейчас он упадет, — так он устал. Левая рука его бессильно свешивалась вдоль тела: она была перебита осколком немного ниже локтя, и кровь текла по разорванной гимнастерке и по оксмершим, ничего не чувствовавшим пальцам. Теперь он не мог сам даже перевязать себе руку, и водитель, засучив ему гимнастерку, пока, до появления сестры или доктора, жгутом скрутив бинт, старался задержать кровотечение. Он снял с руки Чистякова чудом оставшиеся целыми часы и положил их рядом на выступ стены. Чистяков машинально посмотрел на часы: на них было семь утра — ровно столько, сколько было, когда танки трое суток назад пошли в бой. Трое суток... Четыре танка отстали по дороге, но шесть все-таки дошли, — дошли, чего бы это ни стоило.

И, несмотря на усталость и головокружение. Чистяков вдруг почувствовал то ощущение полного счастья, которое бывает только после удачного боя, после победы, когда, избитая снарядами, дымящая, усталая, словно тяжело дышащая, машина

стоит рядом с тобой, и пулемет у нее разбит, и башня повреждена, и в гусеницах застряли щешки грузовиков, обломки железа, и броня в пятнах крови. Но она пришла — чорт возьми! — туда, куда она должна была прийти, и победа есть победа, сколько бы крови за нее ни было пролито и ценой какой бы усталости и страданий она ни досталась тебе.

Южный фронт

Запад

НА СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ

Когда я думаю о родине, я всегда вспоминаю Смоленщину, ее дороги, ее белые борозды, ее деревеньки на низких пригорках, и хотя я родился далеко отсюда, но именно эти места мне кажутся самыми родными, самыми милыми моему сердцу. Должно быть, это потому, что начинать войну мне приходилось именно здесь, на этих дорогах, и самая большая горечь, какая бывает в жизни,— горечь утраты родной земли,— застигла меня именно здесь, в Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и знал, что через час по этим пыльным улицам пройдут немцы. Здесь, оборачиваясь назад, я видел колосившиеся нивы, о которых я знал, что уже немцы их сожнем. Здесь, остановив машину для того, чтобы напиться у колодца воды, я не мог найти в себе силы по-

смотреть прямо в глаза крестьянам, потому что в глазах их был немой и скорбный вопрос: «Неужели уходите?» И я ничего не мог им ответить, кроме горького и скорбного «да». Я знал, что чужеземная власть войдет сюда завтра, и завтра уже ни я, ни кто-либо другой ничем не сможет помочь этим женщинам, толпящимся сейчас вокруг нашей машины на улице.

С особенной болью, которая с тех пор живет во мне, не оставляя ни на минуту, я вспоминаю деревенские кладбища. В Смоленщине они обычно где-то совсем рядом с деревенькой, на холмике, под старыми раскидистыми деревьями. Деревенька маленькая — двадцать-тридцать избенок, — а кладбище большое. Много, много старых, потемневших от ветра крестов... И когда смотришь на такой деревенский погост, чувствуешь, сколько поколений легло здесь в могилы, в свою землю, рядом со своими дедовскими, прадедовскими избами, чувствуешь, какая это древняя, какая это наша земля, как невозможно отдать ее, — невозможно так же, как невозможно вырвать у себя сердце и суметь после этого все-таки жить. Я говорю о себе, но знаю, что то же самое чувство испытали все, кто отступал почти два года назад по смоленским дорогам. И я знаю больше: я знаю, что у всех у нас в глубине души таилась и надежда, и мечта, и вера в свое возвращение. В трудные дни, среди опасностей войны нас, ухо-

дивших по этим дорогам, никогда не дожидала уверенность, что мы вернемся сюда. Мы не верили в то, что можем умереть, не вернувшись сюда, не пройдя еще раз по этим местам, где все так просто, где так, может, обычно и в то же время чудесно,— потому что разве есть что-нибудь прекраснее этих зеленеющих весной и желтеющих осенью березовых лесов Смоленщины, этих далеко уходящих проселочных дорог, этих широких ржаных полей, прозрачной воды рек и зеленой травы лугов.

Где бы я ни был с тех пор, в полевой сумке, среди нужных мне карт то того, то другого участка фронта, я всегда вожу с собой одну карту, казалось бы ненужную. Это не карта генерального штаба, — это старая школьная карта Смоленской области, которую, не имея никакой другой, я купил на второй неделе войны в одном из маленьких, тогда прифронтовых, городов. В октябре 1941 года она стала ненужной, — мы ушли из Смоленщины, — но я положил эту карту в сумку, и вот она, потрепанная, потертая и порванная на сгибах, лежит сейчас передо мной. Сколько раз за полтора года я вынимал ее и клал вот так же перед собой и смотрел на ее зеленую поверхность, на черные полоски дорог и голубые пятнышки рек, и я видел уже не карту, а эти дороги и реки, и зелень лесов, и желтизну полей. Я пробовал закрыть глаза и представить

себе, как я опять проезжаю по деревням, из которых мы уходили, как улыбаются уже другой, — не той, грустной, прежней, — улыбкой женщины, с которыми мы прощались в этих деревнях, как выходит из ворот седой старик и, прикрыв от солнца глаза козырьком, прищурясь, смотрит на проезжающие машины.

И вот эта карта понадобилась, наконец понадобилась. Я вытащил ее из дальнего отделения сумки, подклеил сгибы и, сев в машину, с торжеством разложил ее у себя на коленях. Но как передать словами ту печаль, которая охватывает сердце, когда возвращаешься в места, которые любил до слез и которые изменились так, что трудно поверить, что может так измениться земля, лес, поле, дорога, — все, что открывается перед твоими глазами.

Топография — точная и холодная наука, а бумага, на которой напечатана карта, — всего-навсего бездушная бумага, и линии, однажды нанесенные на нее, не изменятся, но если бы карта переменилась так, как переменилась земля, то ее трудно было бы сейчас читать. От оттепели потеплел снег и на дорогах показалась вода, и небо стало снова почти по-летнему синим. Весна остается весной, а солнечный свет — солнечным светом, и самые печальные пейзажи все-таки веселее, когда они сопреты солнцем и напоены мартовской влагой. Мы едем по изуродованному,

взорванному и сожженному миру, среди труб, словно черные, вопиющие о возмездии мертвые руки, поднявшихся там, где были деревни. Мы едем по земле, изуродованной взрывами мины, по полям, словно оспой, обезображенным воронками. по дорогам, которые уже почти перестали быть дорогами, потому что немцы, отступая, разрубили их, как живое человеческое тело, на куски, взорвав все мосты и перемычки. Мы едем среди изрубленных березовых лесов, и хотя телеграфный столб всего-навсего столб, но меня охватывает чувство гнева и боли, когда я вижу, что немцы все эти временные столбы сделали из свежесрубленных тонких березок и, мало того, что они рубили одну березку, они подпирали ее с трех сторон еще тремя и делали из этих березок изгороди вокруг всех мест стоянок машин, минных полей, своих немецких солдатских сортиров. Кажется, если бы они могли изрубить здесь все леса, они изрубили бы их, так же, как они сожгли все дома, так же, как они изуродовали все дороги.

Земли Смоленщины стали пустыней. Редко-редко на дороге попадется согнувшаяся старуха, везущая за собой сапки, на которых сложены два узла и торчит медная крышка самовара, — все, что осталось от дома, от скарба, от жизни, — таковой, какой она когда-то была.

Мы проезжаем одну деревню за другой, и те, кто остался жив, те, кого не увели в далекое

рабство. стоят посреди своих опустевших дворов, над развалинами своих изб. И даже позы у людей какие-то одинаковые: безмолвное недоумение, сложены на груди руки, опущена голова, взгляд, ищущий хотя бы следов лица, хотя бы следов того, что здесь когда-то было. В ямах, накрытых обгорелыми досками, плачут и смеются дети, которым еще непонятна печаль всего происшедшего, а пятилетняя девочка, стоящая рядом со старухой, детским, скорбным и понимающим, взглядом смотрит на лежащие у стены сарая трупы трех мужчин и двух женщин. Они не здешние, эти люди, — их привезли сюда из какой-то соседней деревни, а потом не успели угнать дальше и, чтобы не возиться, застрелили вот здесь, у стены сарая. Девочка смотрит на них, и мне кажется, что пройдет много лет, она станет большой и война эта будет жить только в воспоминаниях, но в глазах ее останется то же выражение детского, скорбного удивления.

У въезда в то, что когда-то было городом Вязьмой, во дворе, среди пчелица, похожего на тысячи других пчелиц, стоит двое — старик и старуха. В яме, накрытой соломой, плачет ребенок ушедшего на войну сына. Старуха на маленькой железной печке, поставленной прямо на землю, печет проклятые лепешки. Старик рассказывает о том, как он поставил у дороги фаперный лист с надписью «здесь мины», потому что он

видел, как, уходя, их раскладывали немцы. Семидесятилетний человек, старый железпородожник, пятьдесят лет своей жизни проработавший здесь, в Вязьме, он начинает говорить спокойно, медленно, не торопясь, — так, как и полагается говорить степенному русскому старику, — и в такт словам обтесывает горелое бревно, которое намерен укрепить над входом в яму, где кричит ребенок, чтобы потом сделать хоть какое-нибудь подобие крыши. Он медленно обтесывает бревно и вдруг, не выдержав, с размаху, яростно, раз за разом вгоняет в него топор и уже не старческим, а злым, вдруг помолодевшим голосом, не стесняясь старухи, произносит длинное заковыристое ругательство.

— Вот срублю это бревно, закрою яму, чтобы дите хоть в тепле было, и в армию уйду. Уйду. Не могу я здесь жить. Пусть старуха, с дитем сидит. Против немцев уйду, чтоб их...

И он второй раз ругается, с бесконечной, неистребимой ненавистью. А старуха стоит против него и мелко-мелко, по-старчески, кивает головой. У нее твердое темное лицо и ясные, молодые глаза. И почему-то мне кажется, что она, наверное, верховодила в доме и, когда старик горячился, говорила ему, что он блажит и что будет по ее. Но сейчас она не спорит с ним, а кивает головой. Она согласна: нестерпимо здесь жить ее старику, пусть идет в армию, против

немцев, так же как пошли и сын и зять. А влупченок заливается в своей снежной яме. А кругом высятся трубы, трубы, трубы, бесконечные обгорелые трубы... И среди этих вяземских церквей видны впереди колокольни с голубыми сквозными проломами прямо в небо и причудливые обломки взорванных домов. И воздух кругом напоен гарью, дымом, и снег почернел так, как будто те, кто остался тут в живых, в знак скорби, посыпали свою землю пеплом.

В прошлую зиму наши войска подходили близко к Вязме. Уже поднимали голову партизанские отряды и жители по почам переходили через фронт, и на улицах убивали немцев, и казалось, что освобождение недалеко, — но тогда не вышло, не удалось... А вот теперь, две недели назад, чувствуя, что на этот раз город не останется в их руках, немцы вспомнили прошлую зиму, вспомнили партизанские выстрелы, взрывы мостов, вспомнили все, что тогда еще казалось тем, кто жил в Вязме, кануном освобождения, — немцы вспомнили и уничтожили этот тихий старинный город так, как, пожалуй, они до сих пор — даже они, — не расправлялись ни с одним городом. Они метательно взрывали улицу за улицей, дом за домом, пока не взорвали все, от самого первого и до самого последнего. Женщины рыдали и дети цеплялись за ноги факельщиков, но их отискивали в сторону широким салютом и жгли,

жгли, жгли, и взрывали, и калечили. И вот мы стоим на одной окраине города, и нам навсвязь видны снежные поля, идущие за той стороной города,— весь город виден навсвязь, потому что его больше нет, потому что он перестал быть городом.

Мы проезжаем по тому, что раньше называлось улицами Вязьмы. Я глазами ищу дом, где летом 1941 года мы два или три раза ночевали между фронтовыми поездками, но я не могу найти ни его, ни даже его развалин, потому что ничего невозможно понять среди этого пепелища.

Мокрая весенняя дорога выходит из Вязьмы на запад, к фронту. На холме, сразу же за городом, тянется огромное немецкое кладбище. Тысячи крестов аккуратно, по ранжиру, расставленных и разделенных на сектора, тянутся на многие сотни метров. Немцы похоронены по числам: их аккуратность позволяет нам узнать, какого числа сколько их убили. Вот идет целая аллея, на которой похоронены кавалеры железного креста, и на каждом из крестов стоит одна и та же дата: «Погиб 27 I 42 года». Пауль Шиллинг—27 I. Герман Шумахер—27 I. Иоганн Шутц—27 I. Антон Радик—27 I. Галс Элдер—27 I. Макс Герман—27 I. Генрих Лаутениот—27 I. Пост Шульц—27 I. А следующий ряд датирован 12 II. Затем—1943 год. А дальше идут мартовские немцы, совсем недавние, и земля свежая и кресты только что вбиты в нее.

Этих убили уже тогда, когда оставшиеся в живых начали жечь дома и улицы Вязьмы. Жители еще не собрались из лесов, не выбрались из подвалов и ям, но я уверен, что завтра или послезавтра они доберутся до этого кладбища, и тот, кто пройдет через Вязьму две недели спустя, наверное, увидит не один временный сарай, не одну хижину, makeshift из этих черных досок, из этих крестов. В этом будет пророчия судьбы: временная хижина над пепелищем сожженного дома, сколоченная из крестов, которые стояли на могилах людоежителей.

Дорога уходит дальше на запад. Она размокла, по ней тяжело ползут тракторы, волоча за собой орудия, и пехота идет несуетным широким шагом бывалых солдат. Не знаю, когда, но когда-нибудь эта пехота дойдет до границы и перейдет ее. Есть что-то в походе солдат, в их лицах, в их взглядах, которые они бросают вокруг себя, на свою сожженную землю, что-то такое, что говорит: они дойдут, непременно дойдут.

Весеннее солнце пригревает спину. Вытирая пот с усталых лиц, идут пехотинцы, легко неся на плечах ставшие привычными винтовки, автоматы. — идут угрюмо, молчаливее, чем обычно. Нарядные страдания, озаряющие их, сделали их молчаливыми.

Вот следующая за Вязьмой деревня, овраг, в котором лежат еще не закопанные, вчера только

убитые немцами, старики и женщины. Одна из них лежит, закинув голову, судорожно прижав к груди убитого ребенка. Над оврагом останавливается саперный взвод; сначала подходят первые двое, потом все ближе начинают тесниться остальные. Немолодой рыжеусый сапер долго, внимательно смотрит в овраг на мертвую женщину с ребенком. Потом, ни к кому не обращаясь, поправив на плече винтовку, говорит глуховатым, протуженным голосом:

— Ребеночка не пожалели..

И после долгой паузы повторяет:

— Ребеночка не пожалели.

Он ничего не прибавляет к этим словам. — ни ругательства, ни крика негодования, ничего. Но за словами его чувствуется тяжелое, навсегда сохранившееся сейчас у него решение: не пожалеть их, — тех, которые ребеночка не пожалели.

Саперы молча стоят и долго смотрят на убитых, словно стараются навсегда запомнить этот овраг, эти опрокинутые навзничь тела, окровавленные, задравшие вверх бороды стариков, пригиснутого к материнской груди ребенка. Они мрачно смотрят, запоминая. И чувствуется, что ничто — ни раны, ни сражения — не вытеснит из их памяти это воспоминание и они все, так же, как и этот рыжеусый сапер, тоже не пожалеют.

Из полусожженной, разваленной хатенки выходит навстречу саперам глубокий старик на косты-

лях. Он с минуту глядит на то, как саперы с миноискателями начинают расходиться в стороны от дороги, и потом говорит надтреснутым, старческим голосом:

— Вы тут не ищите, сынки. Они не тут клали. Вон они где клали.

Он, тяжело опираясь на костыли, делает два десятка шагов и, опершись на один костыль, подняв другой, тычет им в сторону дороги:

— Вон где они клали. И здесь тоже клали... И вот там...

...Еще одна деревня. Отсюда немцы только что ушли. В двух хатах, уцелевших среди общего пожара, собрались все оставшиеся в живых. На деревянном сундуке сидит еще не старая женщина с седыми волосами и, подперев руками голову, молча, не всхлиывая, плачет. Она не в силах ничего сказать, но дочка соседки — курносая шестнадцатилетняя девчонка, час назад прибежавшая домой из лесу, где прятался народ со всех окрестных сел, — отведя нас в сторону, начинает еще по-детски торопливо, захлебываясь, рассказывать, что произошло:

— Она потому плачет, что у ней сын убитый. Саша Иванов, ее сын. Два дня назад убитый. Оян на немцев напали, и немцы его убили, и еще троих ребят. С нашей деревни — его, а из Филина — Алальку и Ваську. И еще одного, городского, из Вязьмы.

Она, все так же продолжая торопиться, просто и бесхитростно рассказывает о том, как четверо русоволосых смоленских пареньков (старшему из них было семнадцать) узнали, что немцы через лес погонят взятых из деревень женщин и детей. У пареньков был один полуавтомат, две винтовки и два нагана. Они решили сделать засаду в лесу и или отбить детей у немцев или умереть. Они не могли помириться с тем, что немцы угоняют из родных деревень их младших братьев и сестер. Они сделали засаду, напали на немцев, кого-то убили, кого-то ранили, но в этом коротком неравном бою трое из них тоже погибли, а четвертый с перебитыми ногами попал к немцам. Немцы долго тащили его по дороге, дотащили до деревни и там расстреляли. Вот и все.

Курносая девочка вдруг не выдерживает, всхлипывает и дрогнувшим голосом добавляет:

— Конечно, у них наганы. А ведь наганы, они далеко не стреляют. А у немцев и пулеметы были. Много пулеметов. Вот их и убили. А это мать Сашкина. Она все плачет.

За окном слышится скрип подъехавших саней. Седая женщина встает с сундука, вдруг выпрямляется и спокойным, твердым шагом, не опуская головы, не вытирая с лица слез, выходит на улицу. Она берет вожжи из рук приехавшего мальчика, так же прямо, не стибаясь, садится в сани, и при общем молчании сани трогаются.

— Там, на дороге, лежит Сашка ее, — говорит девочка. — Вот она поехала теперь. Она его захоронить хочет.

Медленно по проселочной дороге, среди минированных полей, воронок, поваленных столбов, идут сани. Лошадью правит прямо сидящая на санях женщина со строгим, словно окаменевшим, лицом. Крестьянка из-под Вязьмы, сдвигая за телом своего сына, она похожа на самоё Россию, в безвестных снегах, с непокрытой головой, со скорбью в глазах хоронящую своих погибших сыновей.

...Дороги уходят на запад. По ним движутся войска, и голые весенние леса взбегают на холмы и спускаются с них. И тает снег, освобождая от своего сиватого покрова несчастную, наконец освобожденную землю. И такая печаль охватывает сердце, такая скорбь о погибших людях, о грустной земле, что кажется — печаль эта, — глубокая, неистребимая, неутолимая, — как карающая десница, когда-нибудь поднимется над бедной страной, выкормившей этих вырожденков, которые сейчас, теснимые нами, все дальше отступают по снежным дорогам, уходящим на запад. А в ушах у меня все еще стоят слова сапера: «Ребенок не пожалели» и я вижу каменное лицо его в ту минуту, когда он произносит эти слова.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ

На этом участке фронта уже шестой день идут бои. Вчера весь вечер и сегодня все утро особенно ювирельствовала немецкая авиация. Все, что расположено по обеим сторонам главной коммуникации, ведущей здесь к передовым позициям, сожжено и разрушено. По обеим сторонам дороги дотлевают дома. Стены их обвалились, все превратилось в бесформенные груды кирпичей и дерева, и низовой южный ветер далеко стелет по земле горький дым. Пахнет золой, обугленным деревом, горелым железом. На земле, среди еще не убраных трупов лошадей, то здесь, то там валяются раскрытые и «скомканные» немецкие «чемоданы». Так называют здесь железные коробки, которые бросают немцы с самолетов и из которых, когда они открываются, на лету высыпаются десятки мелких бомб. Кое-где встречаются попавшие под бомбежку изуродованные машины. Солнце то скрывается, то вновь появляется, ярко желтой полосой света озаря стволы де-

ревьев, словно обломанных гигантской рукой. Там, где бомба и пощадила какой-нибудь дом, все равно взрывной волной окна вырваны с рамами, и внутри него черная пустота.

Тишина. Ее нарушает только прохот канонады — то короткие, словно звук вытащенной пробки, выстрелы наших гаубиц, то долгие раскаты взрывов тяжелых немецких батарей, в двух или трех местах методическим беспокоящим огнем перекрывающих эту дорогу. И минутами кажется, что, кроме этих звуков, никаких других сегодня на свете не существует.

Штаб танковой бригады разместился рядом со штабом пехотного полка в полутора километрах от немцев, в узкой, сразу же от дороги уходящей влево балке. Земля кругом до такой степени изрыта воронками от тяжелых 240-миллиметровых снарядов и бомб, что в первую секунду неожиданной вход в блиндаж кажется тоже одной из воронок. В блиндаже просторно и прохладно. Танкисты решили во что бы то ни стало высидеть, а раз так, то они не поскупились на труд: шесть тяжелых накатов, пересыпавших землей, покрывают блиндаж.

Но в блиндаже работают только во время обстрела. Несколько шагов по ходу сообщения — и рядом с блиндажом открывается второе помещение штаба — глубоко вырытый в земле четырехугольник с нишами и скамейками по стенам

и со столом посредине. Это помещение ничем не перекрыто сверху, только тонкие, накрест положенные планки, переключенные зеленью, закрывают штаб от глаз немецких воздушных наблюдателей. Когда посмотришь вверх, среди зелени видно небо, и все это, вместе взятое, неожиданно напоминает южный, крымский или среднеазиатский, внутренний дворик.

Мы разговариваем с танкистами, и разговор наш происходит попеременно то в этом дворике, то в блиндаже, в зависимости от энергии немецких артиллеристов. Во время артиллерийского налета командир бригады полковник Петрушин, улыбаясь, показывает нам дополнительные укрытия, сделанные им на всякий случай в блиндаже. Внутри блиндажа в земляном полу вырыта еще глубже узкая щель, прикрытая двумя деревянными щитами. Начальник штаба майор Бабушкин спрыгивает туда и закрывает у себя над головой щиты. Потом, смеясь, вылезает обратно.

— Это на случай, если уж очень будут донимать двухсотмиллиметровки. Блиндажу такого снаряда не выдержать, пожалуй. Снаряд-то его не пробьет, а бревнами по голове ударить может. Так на этот случай — вниз, и сверху — щитами. Мы тут так и разделили, — все фронтовые понятия с горизонтали на вертикаль перевернули. Вот эти нары у нас называются передовой. Самый блиндаж, поскольку он поглубже, — командный

пункт. А эта щель уже называется глубоким тылом. Так и живем.

Шестой день боев. Ни для какой военной части, особенно для танковой, война не представляется чем-то одинаковым и непрерывным. Бригада уже два года на фронте, но, когда танкисты вспоминают свой боевой путь, они вспоминают самые главные моменты в дни боев, когда жизнь висела на волоске и судьба бригады ставилась на карту. Впервые они дрались под Перемышлем, потом под Нежином, потом ходили в тыл к немцам под Белой Церковью, потом прикрывали эвакуацию Днепропетровска. Зимой 1941 года они брали Елец и Ливны и там же, под Ливнами, в дни прошлогоднего летнего наступления немцев принимали на себя первый удар, обеспечивая фланг армии. Зимой 1943 года бригада, вместе с другими частями, брала Касторную и из-под Касторной с боями двигалась сюда, на этот самый рубеж, где сейчас, спустя четыре месяца, пришлось снова встретиться с немцами.

Эти четыре месяца не были удачными; они прошли в постоянном напряжении. Хотя была длительная стабилизация фронта, но никому ни в армии, ни в бригаде не приходила в голову наивная мысль, что это может продолжаться до бесконечности и что немцы не попытаются взять реванш за Касторную. День за днем, неделя за неделей до местности, на карте, в бригаде раз-

рабатывали все возможные варианты боев, которые произойдут именно здесь, разрабатывали методы взаимодействия с пехотой, артиллерией, поддержки самоходной артиллерии. Были разработаны пять возможных вариантов возобновления активных боевых действий. По каждому из них было твердо намечено, с какими пехотными дивизиями и артиллерийскими полками будет работать бригада, на какой рубеж сосредоточения она выйдет и где будут ее командные пункты.

Наступление немцев произошло по второму варианту. Он был точно разработан и предусмотрен, и самое это наступление было одновременно и ожидаемым и неожиданным. Знали, что оно будет, и примерно предполагали, когда, но точный день и час, как всегда бывает, предложили, конечно, наступающие,—в данном случае немцы. Второй вариант, который разыгрался, и на самом деле предполагал выход бригады на заранее подготовленные рубежи обороны для поддержки дивизии второго эшелона в случае попытки немцев, прорываясь, действовать вдоль железной дороги Орел—Курск.

Как выражаются в бригаде, все рубежи обороны были заранее подготовлены. Эта подготовка выразилась, во-первых, в том, что заранее были вырыты окопы и укрытия для танков, и, во-вторых, все командиры, вплоть до командиров танков включительно, принимали участие в рекогно-

сцировке местности. Кроме того, были произведены глазомерная съемка и пристрелка рубежей. Но это было еще не все. В дни затишья, для того чтобы иметь возможность маневрировать при всех пяти вариантах, бригада была отведена в ближний тыл. Для того, чтобы вступить в бой, надо было предварительно совершить марш, и этот марш был подготовлен заранее. Была произведена разведка маршрутов, разведка скрытого подхода к рубежам обороны, были определены грузоподъемность всех мостов и проходимость всех бродов на пути движения, были разработаны сигналы, условные коды и установлена всякого рода дублированная связь с дивизией, вместе с которой предстояло действовать.

Несколько раз за весну по внезапной тревоге танки выходили на намеченные для боя рубежи по всем пяти вариантам. Наконец, в первых числах июля, стало известно, что есть полная вероятность немецкого наступления между третьим и шестым числом. Ровно в двенадцать ночи с четвертого на пятое июля на левом фланге армии пошедшими в поиски разведчиками была застигнута группа немецких саперов, разминировавших проходы в минных полях. Их было семнадцать человек. Четырнадцать были убиты, двое убежали, семнадцатый был взят в плен. Чувствуя что-то недоброе, разведчики еще по дороге в штаб стали на ломаном языке допраши-

вать немца. Он сообщил, что все готово к наступлению, что к передовым позициям уже подошли и сосредоточились пехота и танки и что ровно в два все должно начаться. Когда разведчики довели пленного до штаба, до первого телефона, времени было без пяти час. Ровно в час об этом был поставлен в известность командующий армией. В пять минут второго об этом знал командующий фронтом. Было принято решение: за пять минут до начала немецкого наступления произвести всеми наличными в армии многочисленными тяжелыми батареями артиллерийскую контр-подготовку. Без пяти два, когда немецкие танки стояли на исходных рубежах, а немецкая пехота накопилась в окопах переднего края, по всему фронту армии сразу заговорили тысячи артиллерийских стволов. Артиллерийская контр-подготовка продолжалась четверть часа. На многие километры влево и вправо земля сотрясалась от непрерывного гула. Ночь была сравнительно темная, и даже в глубоком тылу были видны бесчисленные всполохи разрывов вдоль всей линии фронта. Через пятнадцать минут наступила тишина. Немцы молчали. Помимо того, что этой контр-подготовкой у них были разбиты десятки заранее засеченных артиллерийских батарей, они недоумевали — что это могло значить? — и выжидали. В четыре часа утра, когда немцам удалось навести у себя порядок и все вновь пригото-

лись к атаке, они начали свою артиллерийскую подготовку по всему фронту армии.

Что до бригады, то в ней все были подняты по боевой тревоге еще в два часа ночи. Все видели далекие красные отсветы от наших снарядов, взрывающихся в немецком расположении. Потом наступила тишина. В четыре часа грохот возобновился. Бригада была в резерве командующего армией. Направление немецкого удара еще не определилось. Впереди шел жестокий бой с дивизиями первого эшелона, и танкисты, в сотый раз проверив, все ли готово, нервничали, ожидая, когда пойдет до них очередь вступить в бой. К двенадцати часам положение определилось. Немцы крупными силами вторглись в расположение дивизии первого эшелона, дотеснили ее и двинулись на дорогу Орел—Курск. Сражение завязывалось по второму варианту. В двенадцать тридцать бригада получила приказ выйти на боевой рубеж в районе железной дороги с целью поддержать всеми своими силами расположенную здесь дивизию второго эшелона и не допустить дальнейшего продвижения немцев.

В противоположность наступательным боям прежнего периода немецкая авиация, как всегда очень активная, действовала однако только над передним краем. У немцев на этот раз не хватало в воздухе сил для того, чтобы стремиться парализовать всю полосу предполагаемого прорыва на

глубину двадцати—пятидесяти и более километров, как они это делали когда-то.

В течение двух с половиной часов бригада вышла в район своего боевого рубежа без потерь: с воздуха ее прикрывала истребительная авиация. Кроме того, ей благоприятствовали условия местности — частые деревни, шедшие в своем большинстве вдоль лесистых балок и почти без перерывов переходящие одна в другую. И боевые машины и тылы с ремонтными средствами, с тракторами, с горючим, скрытно передвигаясь через населенные пункты, к трем часам были на месте.

К этому моменту немецкие танки, вырвавшиеся в оборону дивизии первого эшелона, обошли с двух сторон один из ее полков и стремились уничтожить его, не дав ему уйти на следующий прочный рубеж. Бригаде было приказано оказать срочную помощь. Командир пехотной стрелковой дивизии, которой к этому моменту бригада была передана, приказал танкистам немедленно перейти в контр-наступление для выручки дравшегося в окружении полка. Ровно в шесть часов вечера бригада в полном составе перешла в контр-атаку.

За пятнадцать минут до контр-атаки полковник Петрушин собрал своих командиров в задолго до этого подготовленном рубеже и отдал устный приказ и напутствие.

— В прошлом, — сказал он, — мы всегда делали

свое дело с большими потерями для врага и с малыми для себя. Сейчас мы должны задержать его любой ценой и кровью. Больше того: мы должны его отбросить.

И, заканчивая свою речь, Петрушин, неожиданно для самого себя, вдруг сказал тихо и убежденно:

— Не посрамям земли русской.

В этот момент он забыл, где и когда читал эту фразу; ему казалось, что это именно его фраза и никакой другой он сейчас не может сказать.

Танкисты разошлись по машинам, и бригада двинулась. Вслед за танковыми батальонами двигался мотострелковый батальон, своя собственная танковая пехота, которая должна была притти на выручку к танкам в трудные минуты и обеспечить твердый успех. Перед бригадой растянулась хорошо знакомая волнистая равнина, с частыми лощинками и бугорками, заросшими мелким кустарником. Была ясная погода, и низкое вечернее солнце ударяло прямо в смотровые щели. Едва танки развернулись, как немцы открыли по ним сильный артиллерийский и минометный огонь. Два километра танки шли под этим непрерывным огнем. Во главе батальонов шли их командиры — справа Лобода, слева Солюков. Сам Петрушин с начальником штаба расположились в своих танках за гребнем ближайшей вышки и, подняв люки, наблюдали за боем. Пройдя два километра и побравшись до щели небольших высот, за гребнем

которых происходил бой с прорвавшейся из окружения пехотой, правофланговый батальон майора Лободы был атакован во фланг из ложины танками противника. Его сразу атаковали пятнадцать танков Т-6 («тигры») и несколько самоходных орудий «Фердинанд». Сзади танков густо двигалась немецкая пехота. Для отражения атаки батальон Лободы развернул фронт влево, и танки, остановившись, с места стали бить по немцам из-за складок местности.

В первый момент бой для нас сложился неудачно. Немцы вырвались во фланг и сразу же сначала подбили, а потом зажгли три правофланговых танка «КВ». На поддержку правого фланга была повернута направо часть мотострелкового батальона и с левого фланга переброшена батарея наших тяжелых самоходных 122-миллиметровых орудий капитана Яковлева. Этим маневрированием и переброской руководил по радио Петрушин, наблюдавший за боем из своей командирской машины. Все приказания передавались открытой командой по заранее кодированной карте. Населенные пункты, ложины, бугры — все артерии местности были заранее помечены условными номерами, и немцы ничего не могли понять.

Бой продолжался в течение полутора часов. Встретив сильный огонь наших остановившихся танков, немцы тоже остановились, стали бить с неподвижных позиций, а потом понемногу начали

отход. В течение этих полутора часов боя к первым, сразу же створевшим, трем танкам у нас прибавился еще один поврежденный танк, но немцы со своей стороны потеряли один за другим шесть танков, и это именно и послужило причиной их отхода. Основной бой происходил с дистанции девяти-десяти тысяч — тысячи метров. Когда Петрушину казалось, что его приказания недостаточно быстро понимаются и выполняются, он, дублируя радио, посылал в батальон офицеров связи на легких связанных машинах.

Тем временем, пока батальон Лободы принимал на себя главные тяготы боя, левофланговый батальон Солюкова передвинулся еще на километр вперед, где встретил сильный огонь противника с расположенных впереди господствующих высот. Батальон расположился за складками местности и отвечал на огонь ожесточенным огнем. Атаки немецких танков, стремившихся окружить стрелковый полк, дравшийся впереди, были отбиты. Главный огонь немецкой артиллерии, с вводом в бой бригады, обрушился на нее. Пользуясь этим, стрелковый полк, прорвавшись и уничтожив забравшийся к нему в тыл отряд немецких автоматчиков, спокойно отошел за боевые порядки бригады. Танкисты не допустили преследования его немцами и длительным боем, вплоть до почти, обеспечения закрепления полка на следующем твердо подготовленном рубеже.

Когда к ночи пехота закрепилась, Петрушин получил приказание от командира дивизии отойти за пехоту и стать на свой, еще месяц назад подготовленный, рубеж обороны. С него бригада просматривала местность далеко впереди себя и фланговым огнем могла блокировать все вероятные попытки немцев прорваться вдоль железной дороги.

Первый день принес бригаде ощутительные потери. Были выведены из строя четыре тяжелых танка, исторел в своем танке «КВ» один из лучших командиров бригады лейтенант Андрианов. Погиб командир взвода управления лейтенант Шумский. Было еще несколько убитых и раненых, причем, как это обычно водится у тапкистов, привыкших драться до конца, убитых было больше, чем раненых.

Стемнело. Танки заняли приготовленные для них глубокие окопы, из которых торчали только их башни. Из тыла подвезли обед. В горячке боя о нем, как водится, забыли, но сейчас почувствовали, что сильно проголодались, и с жадностью принялись за него. Танкисты вместе с ремонтниками стали производить мелкую починку: исправляли слегка заклиненные башни, восстанавливали подбитые гусеницы. Вызванные условным сигналом по радио, прямо к танкам, под прикрытием темноты, подошли из тыла безвозвзки и, заправив танки, через полчаса исчезли. Тем време-

нем пешие разведчики бригады, на долю которых, как всегда, главная работа выпала ночью, под командой капитана Стукалова тремя группами отправились к немецким линиям. Еще задолго до рассвета разведка выяснила, что немцы всю ночь стремительно подтягивают танки к линии фронта. Они точно определили, в каких местах идет это сосредоточение, но не только им, а и всем в бригаде всю ночь было слышно отдаленное гуденье и рев гусениц, и все понимали, что завтра к утру не миновать боя, что немцы повторят атаки.

Полковник Петрушин, сидя в блиндаже, отдал все необходимые приказания на утро. Еще не начинало светать, а все уже было подготовлено, и он, оставшись один, невольно вспомнил о том, как торопливо и он и другие делали все когда-то в начале войны, как все нехватало времени и как теперь, даже в разгар боев, благодаря опыту, привычке и родившемуся наконец в долгих муках умению все организовать выходило так, что на его долю выпадало даже полчаса свободного времени. Он сосредоточил танки на наиболее удобных позициях и предвидел уже всей своей прозорливостью бывалого командира, что завтра немцы не отделаются шестью сожженными танками. У него была спокойная уверенность в этом, и это радовало его. Война далась ему не легко. Вначале он пережил всю горечь отступления. Он отступал

вместе с другими, дрался до последнего и в лесах Приднепровья своими руками последними литрами бензина поджег танки, у которых не осталось горючего и которые нельзя было отдавать в руки немцев. Он много потерял за эту войну. 25 июня 1941 года на станции Сарны немецкие самолеты, пикировавшие на поезд с детьми и женщинами, принесли ему непоправимое горе: осколками немецкой бомбы у его жены оторвало руку и ногу, а бывший с ней пятилетний мальчик, его сын, неизвестно куда исчез. Брат полковника — сельский учитель, ставший в дни войны командиром, пропал без вести. Его жена была повешена немцами. От матери уже полтора года не было никаких известий, с тех пор как она, не успев уехать, осталась в Ярцеве. Когда он вспоминал обо всем этом, — так он ни привык к ощущению одиночества, к мыслям о разрушенном доме, — у него неизменно сжималось сердце, и когда он думал сейчас же, вслед за этим, о немцах, у него появлялось то холодное спокойствие человека, который ненавидит давно, безгранично, ненавидит без громких слов, без волнений, без истерики, и именно поэтому ненавидит особенно сильно и страшно.

Он был в бригаде уже полтора года, и для него, так много потерявшего, бригада стала за это время всем — любовью, родным детищем, домом. Он переживал ее неудачи и радовался ее победам, никогда не отделяя ни в мыслях, ни в чувствах ее

от себя. И когда после касторненской операции он стал кавалером ордена Суворова, то он был горд этим не столько за себя, сколько за бригаду, — был горд тем, что командир бригады является кавалером ордена Суворова. Он радовался, видя, как у его командиров появлялись опыт и спокойствие, как они излечивались от детских болезней, которые терзали их в первые месяцы войны, как улучшалась связь, как налаживался быстрый ремонт танков, как перевоспитывались робкие и исчезали трусы, как бригада становилась послушным орудием в его руках, — настолько послушным и могучим, что иногда он чувствовал ее как бы продолжением своей собственной руки, и это была сильная рука, которой можно было нанести тяжелый удар. Закрыв глаза, задумавшись, он представлял себе, как нанесет этот удар завтра.

С утра было получено сообщение о том, что немцы готовят крупную атаку, и приказ во что бы то ни стало удержать занятые позиции. С утра же против пехоты двинулась немецкая пехота и вслед за ней танки. Бригада Петрушина атаковала их на ходу, и завязался тяжелый танковый бой. С немецкой стороны действовали сорок танков, из них половина «тигров». После массивной артиллерийской и авиационной подготовки, когда вся земля кругом содрогалась от гула разрывов, немецкие танки перешли в решительную атаку. Заранее подготовленные, выгодно

занятые позиции обеспечили Петрушину успех. Наши танки из-за укрытий расстреливали двигавшиеся на них немецкие. К тому же немцы неверно определили расположение бригады и, вместо того, чтобы выйти ей во фланг, сами оказались под ее фланговым огнем. Бой, с небольшими промежутками затишья, продолжался около десяти часов. За это время танкистам удалось поджечь восемь «тигров», двигавшихся впереди остальных танков, и три тяжелых противотанковых орудия. К исходу дня немцы, не добившись никакого результата, отошли. Земля, изрытая воронками, тихо курилась. В нескольких местах поднимались столбы дыма от еще не сгоревших до конца «тигров». К концу дня было ясно, что немцы еще не бросили все, что они могут бросить, переоценили свои силы и отошли, не желая предпринимать сегодня безнадежных атак, с тем чтобы завтра решительно атаковать, подтянув свежие танки. Это чувствовалось в воздухе боя.

Немецкая авиация бомбила весь день, и с наступлением темноты несколько немецких самолетов наугад еще раз бомбили расположение бригады, не дав танкистам спокойно поужинать и вздремнуть. Впрочем, большинству не спалось. Несмотря на страшную усталость, напряжение боя было таким сильным, что сон никак не смыкал глаз. Всю ночь слышался прохот моторов за немецкими позициями, и короткая летняя ночь

прошла незаметно. Пока ели, пока заправили машины, подвезли снаряды, пополнили боекомплект, уже начался рассвет. Пешая разведка опять ходила в трех направлениях и на всех трех засекала места сосредоточения немецких танков. К утру все яснее чувствовалось, что днем предстоит сильный удар.

Утро было на редкость ясное. Ровно в семь немцы открыли ураганный артиллерийский огонь по пехоте и по танкам. Разрывы ложились сплошной стеной. Длилось это до девяти часов. Этим огнем были подбиты два танка, которые пришлось оттащить для ремонта. После артиллерийской подготовки, сейчас же, без всякого интервала, сорок немецких танков и два полка пехоты пошли в наступление на лежащую слева от бригады железнодорожную станцию, стремясь пройти удобной ложбиной между железнодорожным полотном и оврагом, за которым стоял левый фланг бригады. Там, на левом фланге, в первом эшелоне немцев двигались сразу двадцать два «тигра». Одновременно, стараясь отвлечь внимание танкистов от направления главного удара, на правый фланг бригады двинулись еще пятнадцать танков. Петрушин приказал бригаде, не оставляя прежних рубежей, с места расстреливать немецкие танки, не допуская прорыва на юг, а потом при первой возможности частью сил перейти в контр-атаку на следовавшую непосредственно за танками немецкую пехоту.

Когда «тигры» подошли на дистанцию прямого выстрела, танкисты открыли по ним ураганный огонь. Часть «тигров» была сожжена и подбита на месте, часть, пятясь, начала отходить, но три или четыре, пройдя через нашу пехоту, вырвались на южную окраину станции. Воспользовавшись этим моментом, когда часть немецких танков вырвалась вперед, а часть отступила, рота лейтенанта Бакагова по приказу полковника перешла в контратаку на пехоту, стремившуюся прорваться на станцию, вслед за ушедшими вперед немецкими танками. До этих пор весь огонь наши танки сосредоточивали по немецким танкам, и когда они обрушились на пехоту, эта атака для нее была совершенно неожиданной. Огонь из пушек и пулеметов нанес немцам тяжелые потери, и все оставшиеся в живых автоматчики принуждены были залечь и потом по одному, под пулеметным огнем, отползать в тыл. Прорвавшиеся немецкие танки, обойдя станцию, не видя за собой пехоты, были вынуждены тоже отойти.

Бой длился с семи часов утра до трех дня. У нас сторели в этом бою два танка, у немцев — восемь. В три часа дня наступило неожиданное затишье и продолжалось до восьми часов вечера. Ровно в восемь часов, после сильной артиллерийской канонады, шестнадцать немецких танков, за которыми шла пехота, двинулись прямо на расположение бригады. С передних танков немцы сразу

же пустили дымовую завесу. Как на зло, ветер был прямо в нашу сторону. Почти ничего невозможно было разглядеть. Немецкие танки под прикрытием дымовой завесы прорвались в стыки между батальонами, полуокружив левый батальон Солюкова. Завязался сильный танковый бой. В эту тяжелую минуту полковник Петрушин бросил на свой левый фланг бригадный резерв, тяжелую самоходную батарею против танков и мотострелковый батальон против наступавшей немецкой пехоты. Положение было критическое. Под прикрытием завесы немецкая пехота уже миновала боевые порядки наших танков и прошла в тыл. Мотобатальон с ходу, из глубины, перешел в контратаку. Эта решительная поддержка всеми резервами обеспечивала победу. Танки продолжали вести огонь по наступающим немецким танкам, а мотобатальон ввязывался в бой с немецкой пехотой. Несколько раз схватки переходили в рукопашную. Уже в темноте шел гранатный бой, и по всему полю сражения то там, то здесь вспыхивали всполохи разрывов. В двенадцать часов ночи, немцы были отброшены с тяжелыми для них потерями. До рассвета бойцы мотобатальона, вместе с танкистами, отыскивали на поле боя раненных и вывозили в тыл, чтобы похоронить, своих убитых.

Восьмого боевой день начался в восемь тридцать. Опять, как обычно, он начался с авиацион-

пой и артиллерийской подготовки, и сразу же, вслед за этим, немцы, уже в который раз, решили в общую атаку танками, поддержанную полком пехоты. Теперь они стремились прорваться вдоль самой железной дороги и, чувствуя, что ни ударами в лоб, ни ударом во фланг не удастся сбить бригаду с ее позиций, старались зайти еще юго-восточнее, нащупывая слабое место. Но, стараясь обойти бригаду во фланг, немцы тем самым подставили под удар собственный фланг.

Еще ночью наша разведка установила сосредоточение немецких танков, и Петрушин тогда же, с ночи, правильно предвидел направление ударов немцев. К утру с правого фланга на левый были перекинуты самоходные орудия и часть тяжелых танков. На этот раз немцам не удалось продвигнуться, и ожесточенный огневой бой шел до полудня, потом прервался, а перед самой темнотой разгорелся с новой силой. За этот день немцы ходили пять раз в атаку и каждый раз неудачно.

Хотя враг был отбит, но в бригаде все смертельно устали. К ночи люди валялись с ног и засыпали там, где были, — на своих сиденьях водителей, в башнях танков.

Всю ночь на девятое за немецкими позициями слышалось движение танков. Чувствовалось, что немцы подтягивают какую-то новую часть для перехода завтра в решительную общую атаку.

В девять часов утра девятого немцы действи-

тельно перешли в решительное наступление прямо в лоб бригаде, с целью захватить к вечеру высоты и овраги, расположенные кругом сожженной деревни, т. е. именно то место, где мы сейчас сидим в блиндаже и разговариваем с командиром бригады.

Направив свои средние танки против правофлангового батальона «КВ» и таким образом сквав наши возможности маневрировать всеми наличными средствами бригады, немцы главный удар направили в обход левофлангового батальона. Большое количество «тигров», не обращая внимания на жестокий огонь и понеся тяжелые потери, все-таки обошли левофланговый батальон, вышли ему в тыл, прорвались через позиции занимавшего оборону мотострелкового батальона и двинулись дальше. За ними, плотнее, чем когда бы то ни было, шла немецкая пехота. Положение становилось критическим, и исход боя решался в зависимости от того, выйдут ли пехота мотобатальона в окопах, пропустит ли через себя танки или не выдержит и начнет отходить. Но незаром всю весну нашу пехоту обкатывали танками, заставляли на практике убедиться в том, что если ты хорошо окопался, зарылся в землю, то тебе танк не страшен. В эти дни учебы наши собственные танки десятки раз с грохотом пролетали над головами пехоты, останавливались над окопами, вертелись на них. Люди поверили, что это можно

выдержать и с этим можно бороться, и, когда сейчас уже вражеские, немецкие, танки прошли через мотобатальон, бойцы дрались до последнего: они сожгли семь «тигров», и оказалось, что так же, как и у всякого танка, от метко брошенной противотанковой гранаты у них рвутся гусеницы и они так же хорошо, не хуже, чем другие, горят. Если бутылка с РС метко брошена в них.

Но не уйти из окопов тогда, когда над головой прогремели немецкие танки, было еще полдела. На этот раз немецкая пехота, воодушевленная первоначальным успехом, шла вплотную за танками, и, когда танки прошли, бойцам мотобатальона пришлось почти сразу вступить в рукопашную с немцами. Разыгрался длительный гранатный бой в окопах и в ходах сообщения. Имя в тылу немецкие танки, мотопехота в этой рукопашной отразила с фронта следовавшую за танками немецкую пехоту. Тем временем немецкие танки проникали все глубже. Тогда по приказу полковника левофланговый батальон, который обоняли немцы, произвел быстрый и смелый маневр. Молниеносно снявшись с прежних позиций, он пошел вправо и назад и неожиданно для немцев, в тылу у своих собственных позиций, лоб в лоб встретился с немецкими танками. В этом столкновении мы понесли тяжелые потери, но немцы, не ожидавшие удара в глубине обороны, понесли потери еще более тяжелые. Было сож-

жено пять «тигров», а остальные начали отходить.

Тем временем немецкая пехота, частично остановленная мотобатальоном, левее его сумела просочиться глубоко вперед, почти до командного пункта бригады. Командир бригады оценил обстановку и бросил в этот момент свой последний резерв — четыре грузовых машины с установленными на них счетверенными зенитными пулеметами. Эти машины, неожиданно выскочив на открытое место, где безнаказанно двигались прорывавшиеся немцы, открыли по ним ураганный огонь и, первыми же очередями уничтожив до двух сотен не успевших залечь немцев, вынудили остальных пачать отход. В шесть часов вечера эта последняя, решительная, немецкая атака была окончательной отбита по всех направлениях. Через полчаса после этого, видимо, в отместку за сорванное наступление, сто пятьдесят «Юнкерсов» одновременно обрушились на позиции бригады. Бомбежка была очень интенсивная. Кругом стоял сплошной дым, в котором ничего не было видно. Однако благодаря тому, что бригада была умело укрыта и люди не поленились произвести заранее все окопные работы, потери от этой оглушительной бомбежки ограничились одним подбитым танком и десятком убитых и раненых.

Наступила ночь. Кончались пятые сутки непрерывного боя. Последний день был особенно тяже-

лым. Сгорел в танке лучший командир танковой роты лейтенант Костырин, и многих других не досчитывались в рядах бригады. Но если в прошлую ночь все валялись от усталости, то сейчас, очевидно, у людей родилось уже какое-то второе дыхание, а может быть, нервное напряжение достигло такого предела, при котором заснуть невозможно было.

В эту ночь, с темнотой, когда окончился бой, все почувствовали еще не высказанное, что постепенно отчетливо рождалось в этих боях: немцев остановили. Это было несомненно. Вот здесь, на этом участке, где любой ценой и кровью решила стоять бригада, она действительно устояла и остановила немцев. И не говоря уже о том, что она нанесла им потери в танках вчетверо больше, чем понесла сама, свершилось другое, еще более важное. Немцы, которые раньше, в дни своих прорывов, проходили по сорок—шестьдесят километров в день, которые изматывались только к концу первого, а иногда и второго месяца, сейчас были обескровлены, обессилены к исходу пятого дня, пройдя в первый день каких-нибудь шесть километров через боевые порядки дивизии первого эшелона, а в следующие четыре дня не продвинувшись дальше ни на один метр.

Это была победа. Тот, кто сегодня способен был устоять, сможет завтра пойти вперед. Вот то главное ощущение, которое выносишь из всех

разговоров с танкистами, участниками нынешних тяжелых боев на этом направлении. Они научились спокойствию и выдержке — и это очень много. Раньше часто бывало, что в дни самых тяжелых отступлений отдельные части не отступали до конца, продолжали драться на месте, по это были люди, решившие погибнуть, но не сдать и не отступить. У них была уверенность в себе, но не было уверенности в соседях. Сейчас люди, которые перед боем говорят: «стоять на смерть, драться до последней крови», не чувствуют себя какими-то особенными людьми. Это не мужество отчаяния, нет, — они стоят на смерть, рассчитывая выжить, и в критическую минуту не оставляют своего боевого поста, веря не только в собственную стойкость, но и в такой же степени веря в стойкость соседей. Эта взаимная и справедливая, обоснованная вера и есть тот цемент, который скрепляет сейчас армию, при наличии которого самые тяжелые минуты не становятся критическими и отдельные неудачи не перерастают в катастрофу.

Сегодня у танкистов затишье. Все оставшиеся в строю танки залиты горючим, снабжены боекомплектом снарядов и готовы к бою. Танкисты готовятся к завтрашнему дню. Но завтрашним они называют не тот день, который наступит сегодня, после двадцати четырех, а тот день, когда мы перейдем в наступление, потому что стойкая обо-

рою на смерть — это для них сегодняшний день, а наступление — завтрашний. И когда они стоят в обороне, в этом их завтрашний день, в этом их будущее. А придет ли оно завтра, послезавтра, через неделю или через месяц, — оно будет, ибо без будущего нельзя представить своей жизни, а будущее для армии — это только победа.

ТРЕТЬЕ ЛЕТО

За Сталинград полковник Прянишников получил генерала. На долю его дивизии выпала судьба сделать последний выстрел в Сталинграде. Это было неподалеку от завода «Баррикады», в так называемом районе бензиновых баков. Назывался он так потому, что на этом участке, уже давно потерявшем всякое подобие городских улиц, когда-то, в начале боев, высились большие бензинопхрапильница, от которых к последним дням остались только раскиданные по берегу огромные перегоревшие и покоробленные куски железа. Когда уже в южной части города все было кончено, здесь, в районе бензобаков, еще держались остатки немецкого саперного батальона. Эти немецкие саперы дрались отчаянно и сдались в плен самыми последними в городе. Они подняли белый флаг на исходе 3 февраля, и несколько десятков их вылезло из окопов и пошло навстречу красноармейцам.

Дивизия теперь была гвардейская и на-

зывалась Сталинградской, и все ее бойцы, независимо от того, старые ли они были или новые, должны были называться гвардейцами-сталинградцами и должны были оправдывать это наименование. Прянишников много думал над тем, как сделать сталинградские традиции не только прошлым дивизию, но и будущим. Внешне традиция выглядела просто: гвардейский значок на правой стороне груди и медаль за Сталинград на левой. Но внутренне это было гораздо сложнее, — внутренне это значило воспитать несколько тысяч людей, никогда не бывших в Сталинграде, так, как будто они там были, как будто у них за плечами были боевые схватки под Сталинградом.

Дни боев в Сталинграде летели с такой быстротой, складывались из такого бесконечного количества дел и забот, что только потом, когда отгремел последний выстрел, Прянишников понастоящему задумался над тем, что же представляют собою люди, которых стали называть сталинградцами, — его бойцы, его командиры, он сам наконец. Ему необходимо было это уяснить и решить совершенно твердо, потому что, только поняв все это, можно было попытаться тысячи новых людей сделать похожими на сталинградцев. Прежде всего. Прянишникову казалось, что слова «стоять насмерть» родились именно в Сталинграде и они были там не лозунгом, а просто естественным отношением к существовавше-

му положению вещей, потому что стоять там действительно можно было только насмерть. Бойцы, дравшиеся в Сталинграде, сцепились с немцами так плотно, что оторваться, отступить из своих окопов и блиндажей могли только ценой бессмысленной гибели. Сражаясь, они могли умереть, но выжить они могли, только сражаясь. Сталинградцы привыкли к тому, что можно сражаться и не отступить перед сильнейшим врагом, то есть, в сущности, не признавать его сильнейшим, несмотря на его очевидное превосходство в силах. Это казалось Прянишникову чрезвычайно важным с точки зрения будущего, потому что нетрудно было предвидеть, что и в будущем, если мы сумеем в одном месте сосредоточить подавляющее превосходство сил, то и немцы сумеют это сделать в другом месте.

Третье, что, по мнению Прянишникова, было отличительным свойством сталинградцев, это то, что они знали себе цену. В самые тяжелые дни обороны, когда потери дивизии были велики, в Сталинграде перед ней ставились задачи дивизии, а перед ротой — роты, и эти задачи выполнялись. Это приучило человека, вооруженного автоматом, полудюжиной гранат или пулеметом, считать себя, что бы ни творилось кругом, силой, которая может задержать много — иногда очень много немцев. Этот скупой счет на людей, который тогда был тягостным и вынужденным, тем.

кто это пережил, давал ощущение внутренней силы и самостоятельности в поступках.

Было и еще многое другое, что в большей степени относилось к командирам, чем к бойцам: привычка в случае необходимости разумно экономить все, начиная от снарядов и кончая хлебом, привычка постоянно чувствовать врага тут же, рядом с собой, и не первичать от этого, наконец, привычка все видеть и проверять самому, знать почти каждого бойца в лицо.

Когда весной дивизию переформировали, наполнили и в месяцы затишья направили под Орел, в ближний тыл армии, во второй эшелон, Прянишников имел свои, уже совершенно твердые взгляды на то, как именно он будет воспитывать дивизию в сталинградских традициях. И когда в армии ему однажды намекнули, что, в сущности, его бы никто не упрекнул, если бы он попросил неделю отпуска, чтобы съездить в Москву повидать семью и, в конце концов, просто отдохнуть после сталинградских боев, он разволновался, полночи проходил по избе, одержимый самыми соблазнительными мыслями о Москве, семье и отдыхе, но к утру пришел к убеждению, что сделать этого он не может, потому что именно сейчас ему придется работать не покладая рук, если он хочет, чтобы имя «сталинградец» по справедливости носил каждый боец его дивизии.

Прянишников не только не успел съездить к семье, но, когда ему присвоили генеральское зва-

ние, он даже не успел сшить себе генеральский китель, и, как нашёл ему на старую гимнастерку доморощенный дивизионный портягой полевые генеральские погоны, так и остался он ходить в этой гимнастерке, и только иногда, глядя на себя в зеркало во время бриться, он с досадой думал: «Вот бы сейчас и китель надел, как бы хорошо».

С утра до ночи он бывал в поле. Все, что было вырыто в дивизии, он заставил вырыть основательно, по-сталинградски, так, словно немецкие бомбы и снаряды должны были обрушиться именно на эти окопы и блиндажи. К неудовольствию многих своих командиров, он категорически запретил использовать саперов для рытья окопов и блиндажей.

— Пехота сама себе сапер, — говорил он. — Бросьте вы эти барские замашки. А блиндажи чтобы все равно были.

Что же до саперов, то он заставлял их наводить перештравы, производить минирование и разминирование, справедливо считая, что это первое дело сапера, а блиндаж он себе вырыть всегда и успеет и сумеет.

Пехоту он «обкатывал танками» как только мог. Не раз и сам во время этих импровизированных танковых атак сидел в окопе вместе с бойцами. Он наблюдал при этом за людьми: они вели себя по-разному. Одни, когда к ним на большой скорости приближался танк, бежали по окопу так,

чтобы он прошел где-нибудь в стороне, не на голову, другие, наоборот, с обычным русским азартом сами бежали под таяк и старались почувтаться как раз под ним, чтобы испытать это ощущение и приучить себя к нему. Таких с течением времени становилось все больше и больше.

— Крепостей для солдата не строят, — говорил Прянишников. — Солдат сам себе строит крепость.

Он стремился каждому бойцу своей дивизии привить то убеждение, что крепость именно там, где стоит дивизия; где бы дивизия ни стояла, там и крепость. Удобные рубежи обороны, естественные препятствия — все это были добрые старые военные термины, и он от них не отказывался. Но отношение к этим терминам у него было свое собственное и совершенно твердое. Тот рубеж, на котором стоит дивизия, когда на нее нападает враг, — удобный рубеж, и сделать именно этот рубеж еще более удобным — забота командиров и солдат. Сзади дивизии никаких удобных рубежей и выгодных условий местности нет, а если есть более удобный рубеж, чем тот, на котором стоит дивизия, то этот рубеж может лежать только впереди, но отнюдь не сзади ее.

Это понятие о военной географии, выраженное в свойственных ему энергичных словах, он старался сделать законом для каждого из своих подчиненных.

Наедине с самим собой Прянишников много, и подчас тревожно, думал о будущем. Затишье, ко-

торое тянулось четвертый месяц, уже стало казаться ему чреватым близкими и грозными событиями. Может быть, потому, что так много пришлось пережить под Сталинградом, Прянишникову думалось, что и теперь, в предстоящих боях, его дивизии придется принимать на себя удары немцев и держать их, давая возможность другим нашим войскам перейти в наступление. Предчувствуя военную угрозу, в конце июня он много исподволь разговаривал со своими командирами. Самая конфигурация фронта и тот участок, который на нем занимала дивизия, невольно заставляли думать о том, что если немцы вообще будут наступать, то удар они нанесут, согласно всем шаблонам своей стратегии, именно здесь или где-то рядом.

Разговаривая с командирами, Прянишников чувствовал, что тревожится не он один. Когда он видел и слышал, как у нас подтягиваются к фронту все новые части, танковые бригады, тяжелая и самоходная артиллерия, он невольно думал, что подобное творится сейчас и у немцев. И мысль о том, каким будет первое столкновение после такого долгого перерыва и какими силами немцы нанесут удар (а на этом участке, очевидно, будут нанести удар именно они); эта мысль, естественно, волновала его. В нем были те же самые общие твердость и спокойствие, которые, он чувствовал, были во всей армии, — спокойствие за общий исход войны и даже за ис-

ход летней кампании, как бы она ни началась. Но самое начало его тревожило. Он больше всего на свете не хотел, чтобы это началось так, как в прошлом году: тогда пришлось наверстывать потерянное. Теперь он не хотел наверстывать и, значит, не хотел терять. Казалось, все было сделано для того, чтобы это не повторилось, и все-таки он все время думал о наших неудачах и не мог отделаться от этой мысли. Он чувствовал, что если немцы ударят летом так, как раньше, и нам удастся дать отпор им, — это окажет необыкновенное влияние на весь ход войны.

Четвертого июля стоял теплый летний вечер. Прянишников вышел из душной избы на крыльцо покурить. Было тихо. Ничто не напоминало о войне. Далеко внизу, в лесистой долине, тихо посвистывали знаменитые курские соловьи. И если бы сейчас с ним рядом, на завалинке, сидела жена, то в том, право, не было бы ничего удивительного, так тиха и по-дачному спокойна была эта ночь.

Чиркнув спичкой, при свете ее Прянишников увидел стоявшего на часах автоматчика. Это был старый знакомый, рослый курносый парень, охранявший штаб Прянишникова еще в Сталинграде. Насколько генерал помнил, этот часовой был одним из моряков, пришедших к нему целым батальоном на пополнение в Сталинград. Сейчас еще несколько десятков из них оставалось в дивизии, в том числе и этот.

— Тихо, а? — сказал Прянишников, обращаясь к моряку.

— Точно, товарищ генерал, — сказал тот. — Не то, что в Сталинграде.

Ему, видимо, не терпелось напомнить генералу о том, что он был с ним в Сталинграде. Он стоял с перекинутым через шею автоматом, большой, крепко сколоченный, прочный. Посмотрев на автомат, Прянишников улыбнулся — он вспомнил, как эти моряки пришли к нему в войну вооруженные: у многих из них были одновременно и винтовки и автоматы, — винтовки потому, что моряки тогда с ними лучше умели обращаться, а автоматы потому, что они им нравились и жаль было с ними расстаться.

— Ну, как думаешь, — спросил Прянишников, — скоро опять война начнется?

— Должно быть, скоро, товарищ генерал, — сказал моряк. — Вроде как друг друга ожидаем.

— Почему же ожидаем? — заинтересовался Прянишников.

— Потому что — кто кого перехитрит, — убежденно сказал моряк.

— Ну, и кто же кого перехитрит?

— Мы, — сказал моряк еще убежденнее. — Он начнет, мы ему сперва юшку пустим, а потом сами жару дадим.

Стратегический план моряка относительно того, чтобы «сперва пустить юшку, а потом дать»

жару», в общих чертах совпадал с представлениями Прянишникова о том, как развернутся бои, и хотя, по всей очевидности, мнение моряка не могло играть решающей роли в том или ином развертывании будущих событий, но в этот момент Прянишникову почему-то стало приятно, что их мнения совпадают. Он задумчиво промолчал, только про себя решив, что, очевидно, так и будет.

Утром пятого, когда с переднего края донесся долгий, перекатывающийся грохот артиллерийской канонады, Прянишников, подняв дивизию по боевой тревоге, вдруг почувствовал, что его собственная тревога, овладевшая им в последний месяц, сразу исчезла. Ожидание кончилось, предстояло дело, и каким бы трудным оно ни было, выполнить его было спокойнее, чем ждать. На душе у него (и он чувствовал, что и у его командиров) сегодня, когда все это стало совершившимся фактом, было спокойнее, чем вчера в тихий летний, но предвещавший ничего плохого вечер.

К полудню он получил из штаба армии приказ о выдвижении дивизии на тридцать километров вперед, на боевой участок. Через десять минут первые части уже двинулись, а он еще полтора часа отдавал приказания о движении остальных частей, своих и приданных танков, гвардейских минометных дивизионов, тяжелых артиллерийских дивизионов, полковых самоходных пушек и многих других частей, которыми, в предвидении

будущих боев, обросла его дивизия. В эти часы, отдавая первые распоряжения к бою, он с особой ясностью почувствовал, как окрепла его дивизия за весну, как она усилилась и какое могучее количество всякого рода техники сосредоточено сейчас в его руках.

День выдался жаркий и ясный. Деревья стояли неподвижно, ни один лист не трепетал на них. Линия фронта проходила в тридцати километрах, и лишь далекие отзвуки канонады доносились сюда. День продолжал оставаться мирным, и только в три часа, когда дивизия двинулась к передовым, она наполнила его войной. Дороги закружились далеко в стороны стлавшейся пылью, деревенские улицы наполнились грохотом гусениц, скрипом колес, звонкими ударами копыт о булыжник, глухим топотом пехоты.

Задержавшийся в штабе и теперь обгомявший войска на своем маленьком открытом «Виялисе», Прянишников невольно залюбовался этой картиной военной мощи, неторопливым движением тяжелой артиллерии, гарцованием конно-артиллерийских батарей, равномерным колыханием штыков шедшей ускоренным маршем пехоты. Как ни привычны были для него все впечатления, связанные с войной и армией, в которой он провел двадцать пять лет жизни, — все равно вид хорошо идущего сильного войска волновал его душу. Он чувствовал гордость за то, что это гойско

сильно и что через несколько часов оно покажет эту свою силу, непременно покажет, иначе грош цеха ему, Прянишникову, который командует всем этим идущим, ползущим, скачущим по дорогам.

Авиация почти не беспокоила. Изредка появлялись отдельные самолеты, но зато впереди, по мере приближения к фронту, все отчетливее слышался непрерывный тяжкий гул бомбежки, легко отличимый опытным ухом от канонады.

— Ишь, долбят,— говорили в рядах.

— Но меньше, как двухсотками лупят,— подтверждал кто-то.

— А ты откуда знаешь?

— По звуку слышать.

И хотя все были рады, что немецкая авиация не застигает их в самый неприятный момент, на марше, по то, что слышалось и что происходило впереди, представлялось всем очень серьезным и тяжелым, тем более, что через три-четыре часа им самим предстояло попасть туда.

По всем расчетам Прянишникова, дивизия должна была прибыть в назначенный ей район в темпото, и, если немцы окончательно не переменились, то в бой дивизия предстояло вступить только с рассветом. Это было бы наиболее удачным вариантом, ибо тогда им удалось бы за несколько почных часов после марша привести дивизию в порядок, расставить артиллерию и за-

ставить бойцов вырыть себе хоть небольшие укрытия.

Они подошли к передовым действительно почти в полной темноте, когда бой начал затихать. Небо под вечер заволкло тучами, и впереди, в непроглядной темноте, то там, то здесь вспыхивала перестрелка.

Ровно в одиннадцать вечера к Прянишникову прибыл офицер связи с приказом из армии. В приказе были некоторые неприятные новости. Дивизия первого эшелона, прикрывавшая вначале участок, за которым сейчас стоял Прянишников, приняла на себя первый удар немцев, и к исходу сегодняшнего дня потери ее были немалые. Немцы прошли через ее боевые порядки и в общем продвинулись на этом участке на восемь километров. Теперь, как гласил приказ и как понимал это сам Прянишников по звукам затихавшего боя, впереди него находились попеременно прорвавшиеся немецкие танки и пехота и части дивизии, засевшие в своих блиндажах и окопах и продолжавшие сопротивление уже позади прорвавшихся немецких танков. Когда Прянишников начинал марш, он еще не представлял себе ясно всей картины, и только теперь, когда он узнал, что немцы все-таки прорвали первую линию обороны и впереди стоящая дивизия понесла большой урон, его поразило то, что он не встретил на дорогах никаких признаков отступления и

неудачно пачатого боя. По дорогам навстречу ему ехали весь день санитарные машины, шли легко рашенные, ползли на заправку бензовозки, сновали грузовики со снарядными ящиками, но никаких признаков общего движения назад не было. Положение было тяжелым, дивизия впереди продолжала ожесточенно драться, и немцы, очевидно, эти восемь взятых километров щедро полили своей кровью и завязли, занятые уничтожением бесчисленных маленьких гарнизонов, сидевших по всей глубине обороны, ждавших вырутки и не пытавшихся никакой склонности куда-либо отступить.

В приказе дивизии Прянишниковой была поставлена задача с утра атаковать немцев, прорвавших первую линию обороны, не допустить ни расширения, ни углубления прорыва и контр-ударом отбросить немцев в исходное положение. Прянишников всю ночь объезжал свои части, перетаскивал с места на место артиллерию с таким расчетом, чтобы она могла как можно дольше поддерживать завтрашнюю контр-атаку, а на случай «неблагоприятных обстоятельств» могла бы воспрепятствовать дальнейшему прорыву немцами нашей линии обороны. В войсках было тихо. Многие притомились после марша и спали, другие неторопливо переговаривались между собой и, сидя вдвоем или втроем, накрыв головы одной плащ-палаткой, перекуривали. — Чувствовалась серьезность положения, общее, тщательно сдерживаемое

волнение и та особая неразговорчивость, какая рождается у людей перед неизбежным и тяжелым испытанием.

В три часа ночи к Прянишникову прибыл капитан — один из командиров штаба дравшейся впереди дивизии. Это был уже не молодой для своего звания, видимо, призванный из запаса офицер, высокий, сутуловатый, с отрывистой хрипловатой речью и лицом, на котором застыл отпечаток большой усталости. Он рассказывал обо всем происшедшем за день короткими точными фразами, как будто боясь сказать что-нибудь лишнее, не относящееся к делу. Когда Прянишников задавал вопросы, он отвечал на них не сразу, близко придвигался к Прянишникову и переспрашивал. Только на пятом или шестом вопросе Прянишников понял, что капитан, очевидно, контужен, ему трудно говорить и он плохо слышит.

— Вы контужены? — спросил Прянишников.

— Да.

Прянишникову все больше нравилось то, как ведет себя этот человек и как он рассказывает о бое.

— Сейчас мы в немцы, — как слоеный пирог, — сказал капитан. — Меня, пока я пробирался, два раза пани окликали и два раза немцы.

Прянишников спросил его о расположении остатков дивизии.

— Я не могу вам точно сказать, — ответил капитан, — потому что телефонная связь прервана и радики почти все разбиты. Но я могу вам указать, — и он развернул карту, — где стояли утром. Там же и сейчас, очевидно, стоят, если не все убиты.

Он показал по карте расположение полков и артиллерийских батарей.

— Мы в штабе по звуку чувствуем, — сказал он, — что в большинстве мест еще держатся, стреляют.

У него было усталое и огорченное лицо, но никак не растерянное. Он был, видимо, утомлен чувством страшной, неотвратимой опасности, висевшей над ним весь день. Однако растерянности от общего положения у него не было, и в том, как он говорил с Прянишниковым, чувствовалась уверенность, что этот генерал, перед которым он следит, должен завтра исправить положение.

Доложив обстановку, капитан попросил разрешения уйти.

— Выпейте чаю, — сказал Прянишников, и ординарец, считая это за приказание, быстро налил в жестяную термозжку кипятку.

Капитан поблагодарил, обжигаясь, в несколько глотков выпил кружку до дна и повторил:

— Можно идти?

— Вы куда собираетесь?

— Обрати к себе в штаб.

— Хорошо, — сказал Прянишников. — Я вам дам своего офицера для связи.

Когда капитан с офицером связи вышли из палатки Прянишникова, он невольно посмотрел им вслед. «Да, — подумал он, — кажется, у нас начинают воевать не только смело, но и спокойно».

Бой завязался утром, в начале шестого. За ночь саперы вырыли для Прянишникова и его штаба несколько маленьких блиндажей на склоне лесистого оврага. Со всеми частями была установлена дублируемая по радио телефонная связь, и Прянишников чувствовал, как все, до последней, пята сошлись в его руках. Уже светало. Он вышел из блиндажа и сделал шагов двадцать наверх, — туда, откуда в сильней утренней дымке виднелась широко расстилавшаяся впереди холмистая равнина, — и, развернув в руках карту, прикинул ее на местности. Местность эта была ему хорошо знакома — в мае и в июне он несколько раз рекогносцировал ее с большинством своих командиров, — и сейчас, когда он глядел на карту, он почти реально видел на ней все холмы, низменности, овраги и дороги.

— Товарищ генерал, к телефону! — крикнул снизу телефонист.

Он спустился к телефону. Из корпуса сообщали, что с наших аэродромов поднялось двести бомбардировщиков и в ближайшие минуты они будут бомбить немцев перед участком дивизии. Пряниш-

ников повеселел. Он подумал о том, какое хорошее чувство испытают бойцы, которым через пять минут идти в атаку, когда над их головами по направлению к немецким позициям пройдут десятки своих бомбардировщиков. Это ни с чем не сравнимое чувство — в нем и сила, и гордость, и предзнаменование удачи. Еще в ту секунду, когда бомбардировщики шли прямо над головами, над дивизией, немцы открыли по ним зенитный огонь; они первичами и хотели встретить самолеты как можно раньше и, кроме того, быть может, надеялись, что, обманутые слишком ранними зенитными разрывами, бомбардировщики сплутают, где действительный передний край, и отбомбятся по своим войскам. Впрочем, этого, как и следовало ожидать, не случилось, бомбардировщики спокойно прошли через зенитный огонь, и один за другим черные столбы земли и дыма стали подниматься там, где были немцы. Прянишников отдал последние приказания, и не успел затихнуть грохот бомбежки, как по всему фронту дивизии началась ожесточенная артиллерийская канонада. Дивизионная артиллерия, приданные ей тяжелые танковые полки одновременно открыли огонь, покрывая им большую часть глубины расположения немцев, километров на шесть, на семь от переднего края. Огонь мог бы быть еще мощнее, если бы Прянишников ввел сразу в бой все имеющиеся в его распоряжении артиллерийские средства. Но этого не было сделано: еще ряд тяжелых батарей, гвардей-

ские минометные дивизионы безмолвно стояли, скрытые за складками местности, и молча ждали своей очереди. Дивизия двигалась вперед, но надо было быть готовыми ко всему, и Прянишников стремился сохранить в своих руках все возможности для новых неожиданных ударов и контр-ударов.

Дивизия двинулась ровно в пять. Впереди на пересеченной равнине, то там, то здесь, словно выскакивали из земли короткие дымки минных разрывов. За ближайшими холмами, как доложил наблюдатель, передвигались немецкие танки. Иные из них были видны отсюда в бинокль. Очевидно, наблюдая за полем боя, то одна, то другая машина выскакивала на гребень холма. Вдоль всего гребня лежались сплошные разрывы шашей тяжелой артиллерии. Впереди, на равнине, еле видимыми отсюда мелкими толчками двигалась перешедшая в контр-атаку пехота двух полков первого эшелона. По всему полю рвались немецкие снаряды. Тяжелые чемоданы 240-миллиметровых немецких батарей уже залетали сюда, в глубину, где был штаб дивизии, и еще дальше, на скрещении дорог, по которым везли снаряды.

Бой разгорался. Немцам, вместо того чтобы развивать успех предыдущего дня, на первых порах приходилось заботиться о том, чтобы остаться на тех позициях, которые они заняли вчера. Оставив за себя в блиндаже лачалышка штаба, Прянишников поехал в полки.

На одной из полевых дорог генерал обогнал стрелковую роту, еще подходившую походным строем к месту развертывания колонны. Впереди нее шла батарея легких противотанковых пушек, бронебойщики тащили на плечах свои длинные «дегтяревки», но, тем не менее, у многих из солдат на поясах висели бутылки с горючей жидкостью. Прянишников остановил машину и позвал к себе одного из бойцов, на поясе которого в холщевый мешок были аккуратно засунуты три бутылки с РС.

— Будешь танки поджигать? — спросил Прянишников.

— А как же? — сказал солдат.

Прянишников увидел его немолодое скуластое лицо с решительно сжатыми губами и зеленую ленточку сталинградской медали на левой стороне груди. Лицо его показалось генералу знакомым: он, очевидно, видел его в Сталинграде. Впрочем, всегда, когда он видел зеленую сталинградскую ленточку, ему казалось, что он помнит в лицо этого человека, и, очевидно, это было так, потому что где-нибудь в течение сталинградской осени он его, бошечно, видел.

— А если «тигр»? Все равно подожжешь? — спросил генерал.

— «Тигр»? Как раз, аккурат для него и припас. Тут, разрешите доложить, товарищ генерал, бойцы раненые шли вчерась, так все говорят:

«Тигр», «тигр», бронебойка средний танк берет. а его не берет. А от бутылки,— говорят,— горят эти «тигры» очень спокойно».

— Значит, ты и запасся?

— Вот я и запасся,— сказал солдат, с удовольствием легонько хлопнув себя по мешку с бутылками.— Сожжем их.

Он сказал это без тени бахвальства, с полной убежденностью, что если он встретится с «тигром», то действительно его сожжёт.

Когда Прянишников приехал в штаб полка, размещавшийся в поторо вырытых окопах за гребнем маленького холмика, бой разгорелся уже с полным ожесточением. Пехота на левом фланге того полка, в который прибыл Прянишников, двигалась удачно, прошла уже больше двух километров и в двух или трех местах соединилась с частями дравшейся тут вчера дивизии, просидевшей ночь в окружении у немцев. Он связался по телефону с начальником штаба. На правом фланге было менее благоприятно. Начальник штаба полковник Гриценко, медлительный в речах и спокойный при всех обстоятельствах украинец, своим, как всегда, ленивым голосом сообщил Прянишникову, что на правом фланге танковая бригада, поддерживающая дивизию, остановлена немецкими танками, что там у немцев танков втрое больше и много наших уже сторело и сейчас он принял меры, чтобы в лесок (который в дивизии условно по

карте пазывался «Зеленое яблоко») переместилась самоходная артиллерия и не допустила дальнейшего прорыва немецких танков в тыл дивизии.

— Да, да,— сказал Прянишников,— и на всякий случай из глубины подтяните тяжелые гвардейские минометы. В случае, если все-таки прорвут или обойдут еще глубже, чтобы накрыли их. Не разобьют, так оглушат. Давайте, выполняйте.

Он не добавил никаких подробностей, так как знал, что если немецкие танки обойдут его с правого фланга, они пойдут именно по ложщине, что южнее рощи «Зеленое яблоко», и что все это заранее условлено между ним, начальником штаба и начальником артиллерии и что именно там будут накрывать немцев «катюши», и для этого не нужно никаких дополнительных приказаний. Вообще же он чувствовал, что, очевидно, немцы намерены, дав ему возможность продвинуться вперед левым флангом, задержать правый, обойти его и взять всю дивизию в мешок. И он лишний раз подумал, как хорошо сделал, что не ввел сразу в бой всю артиллерию, заставив немцев заблуждаться относительно количества сил, находящихся в его распоряжении. Он не ввел их в бой сразу, и теперь Гриценко там спокойно маневрировал ими.

Здесь, на левом фланге, немцы тоже попробовали двинуть в атаку танки. Штук пятьдесят их показалось на гребне высот, перевалили через гребень и двинулись навстречу пехоте.

Командир полка майор Ясинский, еще в Сталинграде отличавшийся своей невозмутимостью, и здесь не изменил себе. Он, в присутствии генерала, не нервничал, спокойно распоряжался всей своей артиллерией. Она встречала танки по рубежам, и поражения, наносимые ею танкам, были на этом широко открывавшемся глазам поле как бы наглядной диаграммой все возрастающей силы сопротивления. Вдалеке, почти на самом гребне холма, горели две машины. Ближе, на пихных скатах, горели еще три. На равнине, которую они пересекли для того, чтобы подойти вплотную к нашей наступавшей пехоте, было подожжено пять машин. Дальше начинался передний край. Здесь вступили в действие 45-миллиметровые противотанковые пушки и бронебойки. Поле боя то заволакивалось дымом разрывов, то снова открывалось глазу, и когда, оторвавшись от телефона, Ясинский с долгим вздохом облегчения сказал: «Начинают отходить», перед самыми позициями пехоты, в глубине их, уже стояло, насколько Прянишников мог сосчитать глазом, еще одиннадцать немецких сожженных или подбитых машин.

Отбив атаку танков, полк продолжал уже медленнее, но все так же цепко продвигаться дальше под сплошным огнем немецкой артиллерии, главным образом минометов. Здесь все как будто обстояло в порядке. Прянишников решил переехать на правый фланг.

Как только они отъехали от штаба полка, в не-

бе появилась немецкая авиация. До сих пор первые два часа она бомбила небольшими группами, по пять — восемь самолетов. Теперь шло сразу около полутора сотен машин. Несколько раз по дороге Прянишникову с адъютантом и шофером приходилось вылезать из машины и ложиться на землю. В воздухе стоял оглушительный треск наших зениток, перекрывавший даже грохот разрывов бомб. «Наконец-то наша пехота не беззащитна», — с удовольствием подумал Прянишников. Все небо пестрело пятнами разрывов, и хотя сравнительно малый процент самолетов был подбит этим огнем, все же это была уже не та бомбежка, которую могли ожидать немцы. Теперь им приходилось бомбить с большой высоты, нервно, наспех.

Переезжая с левого фланга на правый, Прянишников с удовольствием убедился в том, что его постоянные требования — уметь зарываться в землю — в общем выполнены. Там, где люди остановились, они зарылись. У всех артиллерийских позиций были открыты щели. Пехота лежала хотя и в мелких, но в окопах и продолжала рыть их. Только один или два раза он столкнулся с прежним русским «авось», когда солдаты, копнув два раза лопаткой для очистки совести, лежали под бомбежкой прямо на земле, надеясь, что «дай бог» да «авось» пронесут.

Когда он выбрался на правый фланг и подъехал к рощице, в которой должен был помещаться, по

его расчетам, штаб правофлангового полка и кругом которой шла оглушительная стрельба, на встречу ему из-за рощи выскочил грузовик с пустыми снарядными ящиками. Увидев генерала на «Виллисе», шофер на секунду притормозил, крикнул взволнованным голосом: «Не ездите, товарищ генерал, там танки» и, дав газ, умчался. Прянишников приказал притормозить «Виллис», вышел и огляделся: может быть, правда, следовало дальше идти пешком. В это время слева, прямо из травы, показались сбитая набекрень пилотка, курносое молодое лицо и длинный ствол противотанкового ружья.

— Товарищ генерал, — приложив руку к пилотке, сказал боец. — Чего он зря про танки говорит. Никаких тут нету тайок.

И были в этих словах, при отсутствии должной официальной почтительности, такое спокойствие и презрение к панике, что Прянишников рассмеялся.

— А где же штаб полка? — спросил он.

— А вот тут, в рощице.

— А ты тут чего один сидишь?

— А я не один. Тут мы кругом сидим, замаскированные, чтобы не видать. Так с утра и сидим, на случай, если танки сюда выйдут. Вот вы войдете в рощицу, налево там и штаб будет.

Прянишников сел в автомобиль и, продираясь через кустарник, въехал в рощу. Штаб полка помещался в русле высохшего ручья. Один берег

был подрит, и в двух или трех ямках, закрытых плащ-палатками, разместился штаб.

— Два раза танки сзади нас на дорогу выходили, — сказал командир полка полковник Сухов.

— Ну?

— Отбивали.

— Связь есть с дивизией?

— А как же? Три раза рвалась, три раза устанавливали.

Прянишников вновь связался по телефону с начальником штаба. Ленивый голос полковника Гриценко, как всегда, действовал на него успокаивающе.

— Насколько я понимаю, — медленно выговаривая слова, сказал Гриценко — первые контратаки немцев мы по всему фронту отбили. Сейчас они перегруппировываются. Может, вы приедете, товарищ генерал?

— Скоро приеду, — ответил Прянишников.

Он почувствовал, что, пожалуй, Гриценко сейчас был прав, и, преодолев в себе с начала войны укоренившуюся привычку во время боя быть непременно где-нибудь в полку или в батальоне, решил немедленно вернуться: при наличии связи оттуда, из штаба, ему, пожалуй, легче будет все видеть. Он вспомнил о недавнем совещании у командующего армией, на котором тот, касаясь вопроса о месте командира в бою, раздражительно сказал: «То, что мы все с начала войны во время

боя торчали в полках, а то и в батальонах, объясняется меньше всего действительной необходимостью и больше всего отвратительно поставленной связью».

Тогда слова командующего доказались Прянишникову, пожалуй, излишне беззащелляционными, но сейчас, в бою, когда связь работала так хорошо, он почувствовал, что действительно при наличии такой связи из штаба дивизии увидишь больше, чем с передовой.

— Уезжаете, товарищ генерал? — спросил Сухов.

— Да.

— Полюбопытствуйте. Тут у нас в роще-то бой был.

— Какой бой?

— Сюда час назад прорвались все-таки их танки, но мы отбили.

— А что же вы сразу не сказали?

— А чего же? Отбили же. Так тут стоят два «тигра». Может, полюбопытствуете. Не видали?

— Не видал.

— Я тоже раньше не видал. Интересная машина.

— А где? — спросил Прянишников.

— А метрах в четырехстах.

Они сели в машину и, проехав вдоль опушки рощи, на самом краю ее, увидели несколько сожженных немецких танков. Один из них был

«тигр». Это была тяжелая машина, грубо сделанная и, видимо, неповоротливая, но с такой толстой броней, какой Прянишников еще никогда не видел. На танке виднелись вдавлины от нескольких попавших туда и не пробивших его снарядов.

— А вот этот пробил, — сказал Сухов, обходя танк сбоку и показывая небольшое отверстие, развороченное в броне 45-миллиметровым снарядом. — В лоб не бьет, а так пробивает. Там, в лощинке, второй «тигр». Хотите дойти?

Прянишников хотел дойти и до второго «тигра», но в этот момент, запыхавшись, подбежал адъютант командира полка и, стараясь сдержать возбужденное от быстрого бега дыхание, — чтобы не подумали, что причина этому волнение, а не просто поспешность, — сказал:

— Начальник штаба вас просит, товарищ полковник. Опять танки идут.

Они не стали возвращаться на командный пункт, а сразу вдоль края роци вышли на пригорок, где помещался наблюдательный пункт. Прянишников решил остаться здесь впредь до отражения атаки.

На расположение полка двигалось на этот раз около трех десятков танков, — во всяком случае, столько их было в поле видимости. Большинство из них, по видимому, были тяжелые. На этот раз, очевидно, учтя опыт предыдущей неудачной атаки, немцы решили одновременно с движением танков подавить нашу артиллерию. Несколько тяжелых

немецких дивизионов было по расположению наших, приблизительно засеченных ими, батарей. Батареи сначала отвечали, но когда танки приблизились на дистанцию 1200 метров, они перенесли огонь по танкам. Через десять минут на скатах холмов стала показываться шедшая за танками немецкая пехота. Несколько десятков немецких тяжелых снарядов разорвались на опушке рощи, где был наблюдательный пункт. Одни — совсем рядом. Бойцы и генерал ушли на землю, и когда Прянишников поднялся, он увидел шагах в десяти от себя опрокинутую дымящуюся воронку и несколько человек, которые уже не подыались. Среди них были и адъютант Сухова, только недавно подбегавший к нему. Танки продолжали двигаться.

— Донесли в дивизию о движении танков? — спросил Прянишников начальника штаба полка.

— Так точно, донес.

Прянишников, сев на землю, развернул на коленях свою карту.

Танки уже начали входить в лощину, которая узкой горловиной шла к рощице, где они сидели. Он проверил по карте. Еще с утра на эту лощину был нацелен дивизион не вступающих в бой гвардейских минометов. Уверенные в успехе, танки подтормозили и ждали пехоту. Она вслед за ними начинала спускаться в лощину и в то же время старалась распространиться вправо и влево, против оставшихся там и продолжавших вести

по ней огонь наших передовых рот. Пряпшиников проверил еще раз по карте. «Да, точно, если в дивизию сообщено, то Гриценко должен сейчас дать сюда огонь «катюш». Очевидно, это будет через минуту или через две, но не позже, только не позже». Он посмотрел на часы. Боже мой, как летело время: было уже одиннадцать пятьдесят две — почти семь часов боя.

— Прикажите подвинуть самоходную батарею на опушку, быть в готовности, — охрипшим, вдруг ставшим отрывистым от волнения голосом сказал Сухов начальнику штаба.

— Связи нет. Порвало.

— Восстанавливают?

— Да.

— Давайте, восстанавливайте, а тем временем пошлите пеших связных.

Прошли еще одна или две томительных минуты. Пряпшиникову не хотелось звонить в штаб. Ему казалось, что все должно быть так, как намечено, без его звонка. Но сейчас уже и не время было заниматься проверкой точности работы штаба. Он приказал соединить себя с Гриценко.

— Гриценко! — крикнул он в телефон.

— Слушаю, товарищ генерал.

В эту секунду рев снарядов заглушил все. Залил лег поперек всей долины, по которой двигались немцы. Сплошной черный дым поднялся впереди, и долгие раскаты еще продолжали греметь кругом.

— Что, товарищ генерал? — не слыша голоса Прянишникова, спросил в телефон Гриценко.

— Ничего! — крикнул Прянишников. — Теперь ничего. Скорее приеду, — и положил трубку.

Он был удовлетворен: в дивизии все шло нормально, так, как он предполагал.

Когда дым в лощине начал рассеиваться, взору Прянишникова открылось такое зрелище: посреди не лощины горели три танка, пораженные прямыми попаданиями. Среди стлавшегося по земле дыма беспорядочными точками лежала мертвая немецкая пехота. Большинство танков беспорядочно отхочило назад. Но десяток танков, не попавших в зону действия, уже выскочил из лощины и двинулся прямо к лесу. В это время из-за опушки отпал за другим раздалось несколько артиллерийских выстрелов.

— Сто двадцатидвухмиллиметровые, — определил по звуку Прянишников.

— Да, самоходные бьют, — сказал Сухов.

Снаряды ударились в землю между танками, но ни один из них не попал. Следующий залп был удачнее: сначала один танк, потом другой вспыхнули. От удара танк как-то сразу завалился набок.

— Сто двадцатидвухмиллиметровые. Как орехи колет, — удовлетворенно сказал Сухов. — Что, наладили связь?

— Нет, товарищ полковник, — сказал начальник штаба. — И связные еще не могли успеть. Наверное, сами по обстановке решили.

— Кто командир батареи? — спросил Прянишников.

— Васильев.

Прянишников пометил эту фамилию на краю карты. В таких случаях он не любил забывать людей, а память за время войны, должно быть, от усталости, все чаще стала изменять ему.

Самоходные орудия продолжали стрелять. Загорелся третий танк. Остальные повернули, по им вдогонку еще летели снаряды, и на самом гребне высоты задымился последний, четвертый танк. Шесть перевалили через высоту и скрылись.

— Где Коля? — сказал Прянишников.

— Здесь, — поднялся с земли молодой парень, выполнивший обязанности шофера, разбитной московский таксомоторщик, который в Сталинграде за шепотом и ненужностью машины был при Прянишникове ординарцем. Глаз и щека его были перевязаны окровавленным платком.

— Тебя задело?

— Да. Осколков штук двенадцать, — сказал Коля. — Маленькие-маленькие, как булавочная головка. И откуда, скажите, пожалуйста: снаряд такой здоровый, а осколки такие маленькие. Поскажи, товарищ генерал?

— Поехали.

После неудачной танковой атаки немцы опять начали бомбежку, но Прянишников торопился в штаб и, несмотря на увещевания Коли, приказал гнать машину во-всю, не слезая с нее.

Они благополучно проскочили во время бомбежки и на перекрестке дороги чуть не наехали на шедшую по дороге, видимо, с левого фланга, группу раненых. Коля затормозил.

— Ну, как, горячо? — спросил Прянишников.

— Горячо, товарищ генерал, — сказал шедший впереди сержант, несмотря на ранение в шею и руку, сохранявший боевую выдержку. — Горячо, — повторил он, отковыряв левой, здоровой, рукой, — бьемся.

— Товарищ генерал, — вдруг выскочил из рядов рослый человек с перевязанной головой, в разорванной гимнастерке, под которой перекрещивались через плечо бинты, — я же вам говорил, что пожу эти «тигры». Вот и пожег.

Прянишников узнал в нем того, давешнего бронбойщика, которого он перегнал по дороге на передовые.

— Как же ты его пожег?

— «Тигра»-то? — сказал бронбойщик с таким выражением, словно «тигр» был его старым знакомым. — Тремя бутылками пожег. Все три истратил.

— Ну как же, все-таки?

— Он через окоп пошел. Я выскочил и по нему — бутылку. Одна соскочила, другая попала, и он загорелся. Уже он загорелся, а я в него третью кинул. В западе был, до конца его дожечь хотел.

— Я тоже сжег, — крикнул кто-то из толпы.

— Сгорел? — спросил Прянишников.

— Сгорел, товарищ генерал. Справно горят.

Прянишников приказал адъютанту записать фамилии бронебойщиков, вытащил портсигар, закурил и дал раненым. Они брали папиросы неторопливо, аккуратно, с достоинством, но, как только папиросы попадали им в руки, закуривали быстро и с жадностью: чувствовалось, что им досмерти хотелось курить.

— Записал? — спросил Прянишников.

— Записал.

— Ну, поехали. Желаю поправляться! — крикнул он раненым, когда машина уже тронулась.

В штабе, пока Гриценко докладывал Прянишникову «обстановку», Коля, вынув неведомо откуда всегда возимую им с собою щетку, очищал генеральскую гимнастерку и брюки.

— Пообдало вас землицей, товарищ генерал.

Действительно, гимнастерка и штаны были в грязи и в пыли.

— Дай умыться, — сказал Прянишников.

Ему принесли кружку воды. Он умыл лицо, полил водой голову и, расстегнув гимнастерку, зачерпнул две полных пригоршни воды и с удовольствием вылил их под гимнастерку. Только сейчас он почувствовал, что дело было жаркое.

— Какой теперь час? — спросил он у Гриценко.

— Пятнадцать пятьдесят.

— Да ну?

На часах Прянишникова было попрежнему одиннадцать пятьдесят две.

— Скажи, пожалуйста, стали, — сказал он.

— Это вы, наверное, повредили, когда упали, как снаряд разорвался, — напомнил Коля.

Положение рисовалось сложным, но в общем утешительным. На левом фланге и в центре мы прошли четыре километра, на правом — несколько меньше. Судя по донесениям и пленным, на участке дивизии в разгару боя уже дрались немецкая танковая и пехотная дивизии и какой-то еще гренадерский полк, о котором Прянишников никогда не слышал.

— Какие приказания сверху? — спросил он у Горценко.

— Приказывают удерживать занятые позиции.

— А как левее дела?

— Примерно так же, как и у нас. Ничего.

— Ну, что же, будем удерживать. Обедом покормишь?

— Пожалуйста, только остыл.

— Ничего. Холодным.

Прянишников наскоро съел суп и котлету. Но если бы его через полчаса спросили, что он ел, то не мог бы вспомнить, так он был в это время занят совершенно другими мыслями.

Бой продолжался. В пять и в семь немцы повторили атаку крупными силами пехоты и танков,

но уже по какому-то ощущению, носившемуся в воздухе боя, Прянишников чувствовал, что на сегодня они утомлены, что хотя дивизии за день не удалось вернуть все восемь километров, потерянные здесь накануне, зато и немцам с тех четырех километров, что дивизия заняла, уже сегодня ее не высадить.

Несколько раз над головой в ту и в другую сторону проходили то наши, то немецкие бомбардировщики, несколько раз высоко в воздухе возникали воздушные бои между истребителями, и любители этого зрелища старались разглядеть в бинокли, какой чей, причем, как всегда водится, о каждом из самолетов существовали два совершенно противоположных мнения. Перед самым вечером, за пять минут до последней бомбежки, вдруг наступила полная тишина. Не было слышно ни одного выстрела.

— Ну, вот и милиционер родился, — сказал Прянишников, и все улыбнулись.

Поговорка была старая, сталинградская, но, видимо, навсегда любимая. «Милиционер родился» — и сразу навел порядок и тишину.

Через пять минут началась последняя немецкая бомбежка.

— Под завес! — сказал Прянишников.

И действительно, когда она прекратилась, все понемногу начало затихать. Бой в этот день исчерпал у обеих сторон все человеческие силы и мед-

ленно начал погасать до утра. К Прянишникову с докладом явился начальник тыла, толстый веселый подполковник с тихой, смешной фамилией Овечка. Он долго служил в армии, был старше Прянишникова лет на десять, и поэтому генерал звал его батькой.

— Ну, как, батька?—сказал Прянишников, когда тот доложил о доставке снарядов и продовольствия.— Могу я водки теперь выпить?

— А почему же нет, товарищ генерал?

— Ну, это зависит только от тебя.

— Почему, товарищ генерал?

— А потому. Знаешь, у меня привычка фляжку откупоривать только тогда, когда все бойцы порму свою получили. Так как же, выдал ты сегодня порму?

— Можете откупоривать,—сказал Овечка.— Совершенно спокойно можете откупоривать.

— Ну, хорошо. Тогда и тебя угощу.

Прянишников взял флягу и налил в походные стаканчики себе, Гриценко и Овечке. Он налил по половине стаканчика, боясь невероятной дневной усталости, которую он только сейчас почувствовал.

— А помнишь, какие к нам месяц назад листовки падали, Гриценко? — вдруг вспомнил Прянишников, поморщившись и закусив корочкой хлеба.

— Какие? Ведь много бросали.

— Да те, про Сталинград. Как они там писали? «Нам известно, что сюда на фронт прибыли ста-

липградские головорезы. Войска германской армии горят желанием встретиться с ними». Ну, что же, пускай горят. Сколько танков от этого желания у них сегодня сгорело?

— Всего девяносто три.

— Ну, впредь до уточнения скинь треть, потому что один и тот же танк иногда в одном полку справа считают, а в другом слева, так что считай пока — шестьдесят три. Да...

Он потянулся, встал и, долгим взглядом окинув ту сторону, где в темноте лежали позиции немцев, медленно и серьезно сказал:

— Ну, что же. Вот и встретились.

В эту ночь Прянишников так и не лег спать. Вся короткая ночь ушла на передвижения. Подтягивались и перемещались на новые позиции батареи, из тыла подошла и стала на левый фланг дивизии танковая бригада, еще не введенный в этот день в бой свой 3-й полк полковника Бессонова. Прянишников за ночь подтянул вперед, один батальон оставил в дивизионном резерве, а два заставил закопаться позади своего левого, выдвинутого вперед фланга. Он предвидел, что завтра главный удар немцев придется именно сюда, и на всякий случай принимал меры. Свой наблюдательный пункт, на котором в этот день сам так и не был, он передвинул несколько назад и вправо, — именно так, чтобы теперь в поле зрения находились все позиции, занимаемые ди-

визией, и чтобы при любых обстоятельствах постараться не менять его завтра.

Ночью он еще раз объехал полки и настойчиво, придиричиво требовал, чтобы продолжали оцепиваться. Для этого кое-где приходилось будить и поднимать бесконечно утомленных боем бойцов и командиров, но Прянишников был на этот раз беспощаден. Если во время боя он старался удерживаться и редко говорил горькие слова командирам, то сейчас он так и сыпал ими и при малейшей оплошности ругался, не стесняясь в выражениях. Ему с несомненностью представлялось, что то, что дивизия с ходу вступила во встречный бой, спутало карты немцев. Накануне, продвигувшись на восемь километров, они считали, что фронт уже прорван, и сегодня вступили во встречный бой не со всеми силами, какими они располагали. Наткнувшись на жестокое сопротивление, они, несомненно, за ночь подтянут крупные силы именно сюда, и — Прянишников это чувствовал — придется приложить все усилия для того, чтобы удержаться, не отступить.

Ночью Прянишников не только поехал сам, но и послал половину офицеров своего штаба проверять готовность полков к завтрашнему дню.

— Главное, чтобы были зарыты, как следует зарыты, — повторил он офицерам. — Если плохо зарыты, если спят, — поднять, устали — все равно поднять, пусть роют. Если не поспят, завтра

самая горячка боя спать не даст — взвинтит нервы, а если не зароятся — погибнут.

Незадолго до рассвета генерал имел крупный разговор с полковником Бессоновым, который, видимо, считая, что его полк попрежнему находится во втором эшелоне и ему, быть может, завтра предстоит передвинуться, не проявил рачительности в укреплении своих позиций.

— Стоите во втором эшелоне? — раздраженно говорил Дрянишников в лицо стоявшему перед ним навытяжку Бессонову. — Я вижу — вы за три месяца заисиделись в тылу, отвыкли от условий современной войны. Сейчас стоите во втором эшелоне, а через полчаса будете принимать на себя всю тяжесть боя, весь удар. Что вы думаете? Что у вас слишком много артиллерии, да? Целиком надеетесь на нее? Напрасно. Могу часть отобрать, если слишком много, чтобы излишне не надеялись. «Немецкие танки не пройдут», — имейте в виду, — это общая формула. Вообще не пройдут — да, но в частности, завтра, могут пройти на каком-то участке. Не здесь, так там, надо это помнить. Думаете, я вас передвину? Леня рыть окопы! Так это мое дело — передвину я вас или нет, а ваше дело — устроить так, чтобы там, где вы стоите, была неприступная позиция, хотя бы вы тут стояли всего шесть часов.

Дрянишников приехал к себе на наблюдательный пункт, когда уже начинало светать. Наблю-

дательный пункт был устроен на вершине холма, с которого можно было наблюдать центр поля боя, весь левый фланг и кусочек правого. Вернее, наблюдательный пункт был расположен не на самом гребне холма, а немного позади, на скате его, и только две замаскированных траншеи выходили на самый гребень холма, где в узких, глубоко открытых щелях стояли стереотрубы. Блиндаж наблюдательного пункта был глубоко врыт в землю и перекрыт четырьмя накатами бревен. Блиндаж был довольно просторен; там стояли стол и вытесанные из досок скамейки, так что можно было удобно, почти комфортабельно работать.

— Сколько накатов? — спросил Прянишников у командира саперного взвода, который со своими саперами заканчивал устройство блиндажа.

— Четыре.

— Почему четыре? — уже сердясь, спросил он. — Если вы хотите сделать блиндаж безопасным от прямого попадания мин и семидесятишестимиллиметровых снарядов, то достаточно трех, а если хотите обезопасить от двухсотсорокамиллиметровых тяжелых, то четыре наката — это филькина грамота, нужно шесть. Что, мне вас заставить перечитать устав? Два наката еще сейчас же. Я не собираюсь менять наблюдательный пункт из-за того, что по мне пристреляется тяжелая артиллерия. Понятно?

В течение часа, оставшегося до полного рассвета, саперы уложили еще пятый и шестой накат.

— Вот это так,— сказал Прянишников, вернувшись из хода сообщения, где он просматривал в стереотрубу поле боя. — Теперь я буду, как у Христа за пазухой,— сказал он с откровенностью человека, который не считает признаком трусости привычку добиваться безопасности там, где это можно сделать. — Теперь пусть хоть целым дивизионом пристреливаются.

Уже совсем рассвело, а немцы все еще не начали.

— Проверьте радио,— говорил Прянишников Гриценко, — проверьте как следует, — со всеми полками и дивизионами. От этого многое будет зависеть, быть может, все. В течение первого часа, ручаюсь чем угодно, все телефонные провода порвут.

Гриценко доложил, что связь по радио проверена и что дублированная связь на все время боя обеспечена.

— Ну, хорошо,— сказал Прянишников. — Что же они не начинают?

Словно отвечая на его слова, немцы действительно начали.

— Шесть ноль, ноль,— сказал Прянишников, посмотрев на часы. — Все-таки, как ни говорить, — обратился он к Гриценко, — а они большие любители «порядка».

Все, что Пришибников предвидел с ночи, начинало оправдываться. Уже к шести тридцати, после короткой, но решительной артиллерийской подготовки, насколько можно было судить по донесениям из всех полков, перед фронтом дивизии появилось больше двухсот танков.

— Полнокомплектная танковая дивизия,— сказал Пришибников. — Я не думаю, чтобы они за одну ночь пополнили вчерашние и позавчерашние потери. Скорее всего наши предшественники и мы за эти два дня уже вывели одну танковую дивизию из строя. По-моему, это новая. Как вы думаете?

— Весьма вероятно,— сказал Гриценко.

— Очень вероятно.

Из полков все время поступали сведения о подбитых и сожженных немецких танках. Через два часа общее число их дошло до шестидесяти. По привычке скинув одну треть, Пришибников исчислял это количество в сорок штук.

— Для начала хорошо,— сказала оп. — А главное, хорошо то, что мы еще не ввели всю артиллерию. Это самое хорошее.

К девяти часам утра, после того, как связь с левофланговым полком Ясинского прерывалась три раза, она прерывалась окончательно, и Пришибников получил донесение, что немецкие танки и самоходные орудия обошли полк Ясинского справа и слева и, в сущности, замкнув его в кольцо,

двигались дальше, причем главная масса их, обойдя дивизию слева, стремилась сейчас выйти за правый фланг соседа, на его тылы.

— Придется тронуть танковую бригаду, — сказал Прянишников. — Отдайте ей приказание вступить в бой.

Гриценко связался по радио с командиром танковой бригады, и через двадцать минут с левого фланга, от Бессонова, уже допели, что перед фронтом полка и левее его идет ожесточенный танковый бой, судя по началу его, складывавшийся не в пользу немцев.

— Ну, да, неожиданность, — сказал Прянишников. — Они там не ожидали встретить наши танки. Но бригада там у нас не такая сильная, и когда немцы освоятся с обстановкой, танкистам придется туго. Оттяните половину самоходных орудий назад, на высоту, к деревне Подосиновка.

— Назад? — переспросил Гриценко.

— Да, да, назад, — на тот случай, если немцы сомкнут бригаду. А что же вы думаете? Я предпочитаю сегодня обойтись без боя в окружении. И запросите по радио танкистов, чтобы прислали мне оттуда одного командира. Радио — хорошее дело, но я хочу посмотреть ему в лицо. Что, с Ясинским нет связи?

— Нет. Очевидно, рацию разбили.

— Пошлите офицера связи. Пошлите двух сра-

зу, пусть попробуют добраться разными маршрутами.

В последующий час пришли три донесения о первых серьезных потерях в офицерском составе. У Сухова прямым попаданием снаряда были сразу убиты начальник штаба и заместитель. Сам Сухов был ранен, но остался руководить боем. С Бессоновым была еще телефонная связь: он донёсил, что часть танков развернулась против его полка, сейчас он отбивает ожесточенную танковую атаку и ждет пехотной атаки, потому что, по его наблюдениям, в близлежащих впереди лощинах уже скопилось больше полка немецкой пехоты.

— Минут на десять связь прервется, товарищ генерал,— кричал в телефон Бессонов.

— Почему?

— Меняю наблюдательный пункт.

— Почему?

— Сильно покрывает артиллерия. Нашупали.

— Впредь наука будет, — крикнул в телефон Прянишников: — будешь как следует наблюдательные пункты строить! Меняй, но только скорей.

Наблюдательный пункт самого Прянишникова немецкая артиллерия еще не нашупала, и только два или три раза весь холм содрогался от ожесточенной бомбежки.

— Ишь, сколько высыпало, — говорил Пряниш-

ников, глядя в небо, откуда, вырываясь из мелких тучек, словно из рога изобилия, пикировали немецкие самолеты.

Во время бомбежки Прянишников сидел в узком ходе сообщения у стереотрубы, справедливо считая, что и шесть накатов, пожалуй, не спасут от удара двухсотпятидесятикилограммовой бомбы, а сидеть на воздухе, наблюдая за тем, как пикируют немецкие самолеты, было все-таки веселее. Впрочем, наблюдать за ними он не особенно успевал: донесения шли одно за другим. Положение усложнялось, а от Ясинского попрежнему не было сведений. Наконец от него пришло радио. Он сообщал, что рация была повреждена и ее исправляли, что немецкие танки находятся уже позади него, но полк продолжает оставаться на прежних позициях и ведет бой сейчас главным образом с пехотой противника.

— Запросите его, прибыли ли к нему офицеры связи, и пусть пришлет офицера с докладом,— сказал Прянишников.

Но когда по радио передали это приказание Ясинскому и потребовали его подтверждения, то подтверждения не последовало — видимо, рация опять была повреждена или разбита.

Тучи над головой понемногу рассеялись. Небо стало синим, и налящее июльское солнце припекало голову. Во втором часу дня наконец прибыл офицер связи из танковой бригады. Последние два

километра он прошел пешком, так как его броневик разбило по дороге при бомбежке, гимнастерка его и брюки были в темных пятнах крови убитого водителя.

— Ну, как там? — спросил Прянишников, когда офицер отрапортовал.

— Ведем бой, — ответил тот.

— Знаю, что ведете. Что, сами видели, как бой идет? Рассказывайте.

Танкист, помрачнев, стал рассказывать о том, какие большие потери в машинах они уже понесли за первые два часа боя, причем с каждой фразой лицо его все больше искажалось, как будто это сообщение причиняло ему физическую боль. Он рассказывал о том, как удачно начался бой, как они, выйдя неожиданно с исходных позиций, из лесу, встретили обтекавшие лес немецкие «тигры» и «фердинанды». Фланговым огнем в первые же пятнадцать минут боя они сожгли одиннадцать тяжелых немецких танков и несколько легких, а потом на них с трех сторон обрушились главные силы немецкой танковой дивизии, и трудно сказать, в каком положении дело теперь, после того как он час добирался сюда.

— Сколько, по вашим подсчетам, вы уже потеряли машин?

— Около двадцати, — сказал танкист.

Он сделал длинную паузу и потом, коле-

блясь, словно боясь осудить действия своего командира, сказал:

— Как пожгли мы этих одиннадцать «тигров», так зарвался немного — в лоб вышли. Тут нас и напрыли. Сильные все-таки эти машины.

— Да, надо было сманиеврировать. Ну, хорошо. Поезжайте и передайте вашему полковнику, что я приказал, не выходя из этого района, в случае окружения танками занять круговую оборону. Будет нужно, — закопайте танки, но не уходите. Передайте ему, что на поддержку сзади него подходит самоходная артиллерия. Если вас окружают, то пусть знает, что не надолго. Поезжайте.

Танкист замялся:

— Не на чем, товарищ генерал.

— Ах, да, ну вас же броневик разбили. Ну, ладно. Найдите моего шофера, — сказал Прянишников начальнику штаба, — пусть доставит на моем «Виллисе». И обратно чтобы с последними сведениями приехал.

— Есть, — сказал танкист.

— Поезжайте.

От Ясинского сведений все еще не было. Сухов регулярно доносил о ходе боя, и хотя в общем обстановка складывалась у него благоприятно, — перед позициями горело уже больше двадцати танков, и немцы почти нигде не продвинулись, — но Сухову не повезло сегодня с команд-

ным составом: за последние два часа у него убитыми или ранеными выбыли несколько командиров.

К трем часам дня выяснилась новая неприятность: начальник артиллерии доносил, что, отбивая ожесточенные танковые атаки, артиллеристы израсходовали значительно больше снарядов, чем предполагалось. Количество снарядов в некоторых батареях уже подходило к цифре неприкосновенного запаса. Видимо, грузовики со снарядами застряли где-то по дороге, под непрерывной бомбежкой. Подполковник Овечка с утра был где-то в тылах, и Прянишникову все не удавалось связаться с ним, чтобы запросить о положении со снарядами.

— Василий Акимович, — обратился к Прянишникову заместитель по политической части полковник Прохоров, его бывший комиссар еще по Сталинграду, — я поеду насчет снарядов.

— Да, да, поезжай, Андрей Семенович, — сказал Прянишников. — Поезжай и вытащи. Сейчас это главное. Наверное, не туда захалили или застряли, или где-нибудь мосты побили, так, вместо того чтобы раз-раз и мост поправить, объезды на пять километров устраивают. Чортова привычка! Поезжай.

Прохоров уехал, и Прянишников про себя лишний раз подумал то, что он уже думал много раз: какой золотой человек его бывший комиссар и

как он здорово в своем новом положении заместителя нашел свое место. С утра он уже побывал в своих полках и сейчас поедет вытаскивать грузовики со снарядами, и заставит построить мосты, если они разбиты, и вытащит снаряды, обязательно вытащит, а потом вернется, незаметно пробудет здесь, на наблюдательном пункте, полчаса, прислушиваясь и нащупывая то место, куда ему нужно будет поехать, и опять скажет так же: «Василий Акимович, я поеду туда-то или туда-то», и опять поедет, и опять сделает. И, вернувшись, снова скажет ему, командиру дивизии, что-то негромкое своим спокойным, ласковым голосом, — такое, отчего на душе станет хорошо.

С Бессоновым связь рвалась два раза и дважды восстанавливалась. Он дописал, что держится прочно, но предвидел еще более ожесточенные атаки и просил на этот случай для большей надежности вернуть ему забранный у него Прянишниковым третий батальон. Прянишников знал по себе, что командир полка, у которого забрали батальон, так же как командир дивизии, у которого забрали полк, как бы хорошо ни понимал обстановку, все равно в душе чувствует себя обокраденным и все время помнит об этом отобранном батальоне или полке, как будто ему должны его вот-вот вернуть. Несмотря на серьезность обстановки, Прянишников невольно улыб-

нулся этим своим мыслям и, приободряя Бессонова, сказал, что держится он молодцом.

— Что же касается батальона,— добавил он,— то ты представь себе, что его никогда у тебя не было. Про него забудь, представь себе, что у тебя всегда было два батальона, вот с ними и держись.

Бессонов пробовал что-то возразить.

— Все,— сказал Прянишников. — Все. Сегодня еще не последний день боев. Еще завтра бои будут. Держись с тем, что есть.

В четыре часа с левого фланга донесли, что танковая бригада понесла тяжелейшие потери, полчаса назад была окончательно обойдена немецкими танками, но поставленные сзади нее два дивизиона самоходных орудий остановили немцев, и, попав под фланговый огонь, немецкие танки начали отход.

— Ну, как ты думаешь, Гриценко? Что дальше будет? — спросил Прянишников.

— Теперь в другом месте ткнутся,— сказал Гриценко.

— Совершенно верно. Ну-ка, запроси Сухова, что у него там с танками. Много ли наблюдается немецких танков?

Через пять минут Гриценко сообщил донесение Сухова о том, что перед фронтом его полка действует главным образом немецкая пехота, а в смысле танков относительно затишье.

— Прикажи, чтобы держали в готовности все противотанковые средства,— сказал Прянишников. — И отдай приказание, чтобы подготовили огонь «катюш» по тем же ложинам, что и вчера. Если немцы пойдут, больше им негде прорываться, как по этим ложинам. Пусть сейчас же готовят огонь.

Чутьем человека, уже хорошо знающего немцев, он предвидел, что, потерпев неудачу на левом фланге, у Бессонова, и считая, что Ясинский все равно окружен и является их добычей, немцы сейчас перегруппируются и бросят свои главные силы направо, на Сухова.

С четырех до шести установилось относительно затишье. Немецкие атаки ослабели не только перед фронтом Сухова, но и перед фронтом Бессонова. Все это лишний раз подтверждало соображения Прянишникова относительно немецкой перегруппировки.

Прянишников тоже занялся некоторой перегруппировкой, главным образом артиллерии. У него уже не было не введенных в бой артиллерийских резервов, и он рискнул, к огорчению Бессонова, перетащить от него один тяжелый артиллерийский дивизион несколько ближе к правому флангу и приказал начальнику артиллерии отдать распоряжение об уточнении данных для стрельбы по холмам, на которых сейчас стоял правый фланговый батальон Сухова. Он делал это на тот

случай, если у Сухова потеснят правый фланг, тогда на этом пространстве окажутся немцы, сразу накрыть их сильным огнем.

✓ Ровно в шесть часов вернулся из тылов Прохоров.

— Ну, как, Андрей Семенович?

— Подтащили снаряды, — сказал Прохоров. — Теперь опять почти комплект будет. Так и есть, два мостика расковыряли немцы бомбежкой, так такой объезд через гать, через топь устроили, что пятьдесят грузовиков стояли, вместо того чтобы мостик навести.

— Ну, навели теперь?

— Навели. Что слышно, Василий Акимович?

— Пока ничего, — сказал Прянишников, — но полагаю, что сейчас должны начать нажимать на Сухова. Будут новую щель искать, куда пролезть можно.

— Хорошо, — сказал Прохоров. — Я поеду к Сухову.

— Поезжай, он там раненый. Ты посмотри, Андрей Семенович, он говорит, что легко, а может быть, его все-таки нужно вывезти. В общем, поезжай. Что я тебе говорю? Сам знаешь.

Только Прохоров уехал, как началось то, чего уже два часа ожидал Прянишников. Около сотни немецких танков и, судя по всему, не меньше полтора-двух полков пехоты двинулись на позиции, занимаемые Суховым. В течение двух ча-

сов там творился суший ад. Ожегшись еще утром, потеряв много танков, пемцы на этот раз поддерживали свою танковую атаку огнем, по крайней мере, трех артиллерийских полков. Минутами поле боя казалось отсюда окутанным сплошными дымами разрывов. В критический момент, стремясь не допустить разрыва между своими батальонами, Сухов запросил по радио разрешения загнуть фланг и несколько отойти своим правофланговым батальоном.

— Запросите, подготовлены ли сзади позиции? — приказал Прянишников.

Через пять минут Гриценко сообщил, что Сухов доносит, что ириготовлены.

— Тогда разрешите, — сказал Прянишников. — Подготовлены данные у артиллерии?

— Подготовлены.

Через десять минут после того, как правофланговый батальон Сухова начал медленно отходить и немецкие танки и пехота выскочили на только что занимаемые батальоном высоты и начали перекатываться через них, по личной команде Прянишникова, хладнокровно ожидавшего, чтобы на высотах накопилось как можно больше немцев, туда ударили последовательно залпы трех дивизионных «катюш». И сразу же, вслед за этим, не давая передышки, пристреляв заранее этот рубеж, по нему начала бить тяжелая артиллерия. Это был самый напряженный момент боя.

Насколько мог судить Прянишников, ряды су-ховского полка к этому времени уже поредели, у батальонной и полковой артиллерии снаряды были на исходе, и если бы теперь не удалось удержать немцев сплошным огневым валом, то последствия могли бы быть если не ката-строфические, то, во всяком случае, очень тя-желые. Но расчет оказался правильным. Немцы, застигнутые огнем батарей на открытом месте, скатились с высот не вперед, а назад, — на этот день у них уже нехватило наступательного по-рыва для того, чтобы снова подняться на высо-ты. Бой здесь начал понемногу затихать, и только на отдельных участках, где частям немец-кой пехоты удалось проникнуть между позициями наших рот, происходили еще мелкие ожесточен-ные схватки, в ходе которых с обеих сторон, есте-ственно, выравнивалась линия фронта.

Теперь главное внимание Прянишникова было привлечено к полку Ясинского. Представлялось совершенно несомненным, что немцы перед новой атакой на фронт дивизии во что бы то ни ста-ло постараются уничтожить окруженный, попав-ший в тяжелое положение полк Ясинского. Меж-ду тем от Ясинского не было еще никаких сведе-ний ни по радио, ни через офицеров связи, судя же по всем наблюдениям, там, впереди, у Ясин-ского продолжал идти ожесточенный бой.

Прянишников подтянул к переднему краю свой

резервный батальон и дивизион самоходных орудий. Он намерен был ночной атакой в центр, на господствовавшую высоту, лежавшую против левого фланга Сухова и занятую немцами, отвлечь внимание немцев от полка Яснинского, помочь ему расчистить коридор и отойти.

Когда Прянишников отдавал последние распоряжения на этот счет, к нему наконец явился офицер связи от Яснинского. По его виду сразу можно было определить, что он побывал в самом некле боя. Был он весь забрызган грязью и запачкан, гимнастерка у него была порвана в двух местах, глаза покраснели от усталости. Подойдя к генералу, он старался иметь возможно более подтянутый вид, чувствовалось, что он почти падает от усталости. Прянишников, заметив его состояние, повел его в блиндаж и, прежде чем он начал рассказывать, заставил сесть. Сведения, привезенные офицером связи, были не веселые, но все же менее трагические, чем можно было предполагать. Потери в полку были значительные. Противотанковая артиллерия, по донесению Яснинского, подержавшая за день шестьдесят один танк, была в свою очередь почти целиком уничтожена и частью раздавлена немецкими танками. Сак Яснинский был легко ранен, но тяжело контужен и, как сказал офицер связи, писал это донесение лежа. Заместитель его — майор Лавров был убит. Хрошее в этом общем тяжком положении — это то, что остатки всех трех батальонов имели между

собою связь и в ходе боя были стянуты Ясенским, предвидевшим необходимость последующего выхода из окружения. Донося о ходе дневного боя, Ясенский сообщал, что, несмотря на строго оборонительный характер боя, все же удалось захватить до трех десятков пленных. Немецкие танки, пущенные на полк в огромном количестве, подвели за собой немецкую пехоту к самому переднему краю, а отдельные десанты затащили даже в глубину. Бой, что случалось очень редко, за день три или четыре раза переходил в рукопашный, обе стороны забрасывали друг друга гранатами и дрались с большим ожесточением. Именно в ходе этих рукопашных схваток и были захвачены пленные.

Ясенский, наблюдая за общим ходом боя, правильно предполагал (так оно и было), что общая линия обороны в ходе боя установилась позади него, и хотел ночью, сосредоточив впереди батальонов оставшиеся противотанковые пушки, прорваться назад и выйти на общие позиции дивизии. Именно на это он и спрашивал разрешения у Пришибинникова.

Общие потери дивизии за этот день, а также и подавляющее превосходство сил, которые сосредоточили немцы на этом участке, не позволяли Пришибинникову принять то решение, которое он принял бы при несколько ином соотношении сил. Он не мог сейчас позволить себе пытаться выйти всей дивизией на уровень полка Ясенского.

Следовательно, оставалось именно то, что предлагал Яслинский: с боем пробиться и отвести полк на уровень общей линии обороны,— как она сложилась сейчас.

Прянишников написал письменное приказание и с офицером связи отправил к Яслинскому своего начальника разведки капитана Глуценко, уже давно с ним воевавшего и прославившегося в дивизии смелыми ночными действиями. Перед отъездом офицера связи и Глуценко он собственноручно вместе с ними нанес на карту всю обстановку на фронте дивизии, предполагаемый коридор, по которому должен был прорваться Яслинский, а также и направление демонстративного удара, который он предполагал нанести ровно в 22.00 для облегчения участи окруженного полка. Яслинский тоже ровно в 22.00 должен был начать выравниваться.

Когда офицер связи и Глуценко уехали, Прянишников вызвал начальника артиллерии и установил рубежи, по которым тот должен был открыть огонь с таким расчетом, чтобы под прикрытием огня Яслинский мог спокойно оторваться от немцев, которые были впереди него, и драться только с теми, что преграждали ему путь назад.

Бессонову и всей приданной ему артиллерии было приказано сейчас же с наступлением темноты начать постоянный беспокоящий огонь по немцам, паходившимся между ним и Яслинским.

— Ты должен взвешивать им нервы, понима-

ень? — сказал Ирянишников Бессонову по только что установленному телефону. — Не дать им ни сна, ни отдыха.

Теперь, когда положение Ясненского рисовалось в более радужном свете, чем это первоначально казалось Ирянишникову, и он, по всей видимости, мог пробиться почти самостоятельно, генерал решил не вводить в бой весь резервный батальон, а, отобрав человек сто автоматчиков, произвести ночную демонстрацию против высоты с максимальным шумом и минимальными потерями в людях.

Операция началась, как и предполагалось, ровно в двадцать два часа прямо с мощной артиллерийской обработки немецкого переднего края. У немцев по всему переднему краю одна за другой стали взлетать белые осветительные ракеты, они по всему фронту стали отвечать беспорядочным, главным образом минометным огнем, а когда отряд автоматчиков начал свою демонстрацию, завязалась ожесточенная пулеметная перестрелка.

Потом сильный бой разгорелся впереди позиции Бессопова — в том коридоре, по которому пробивался Ясненский. В двенадцать часов ночи Ирянишников получил первое допесенное о том, что подразделения Ясненского начали выходить на правый фланг Бессопова. Генерал сейчас же выехал туда.

Ночь была совершенно темная, и только по

всему горизонту то и дело вспыхивали отсветы оружейных выстрелов. Люди Ясненского выходили в полном изнеможении, но с оружием в руках, волоча за собой пулеметы и минометы. Многие были ранены, иные тяжело, но они все-таки шли. Добравшись до своих, некоторые сразу падали на землю и засыпали от страшной усталости.

Кроме Пришибиникова, сюда приехал и Прохоров, взяв с собою всех свободных работников полготдеда дивизии. Предстояла трудная задача заставить этих вышедших из окружения смертельно усталых людей сейчас же, ночью, вырыть себе хоть какие-нибудь окопы, чтобы не стать наутро легкой добычей немецкой авиации. Пришибиников приказал Бессонову уплотнить свой фронт несколько влево, а Сухову — вправо, и таким образом часть окопов освободилась для людей Ясненского.

Но много окопов приходилось рыть заново. На этот раз, поступив против своего обыкновения, Пришибиников вызвал на помощь саперную роту для того, чтобы отрыть наблюдательные и командные пункты и сделать перекрытия на блиндажах.

Роты Ясненского выходили одна за другой. Артиллеристы с окровавленными, забинтованными головами тащили за собой подбитые противотанковые пушки, — лошади были убиты, и пушки всю дорогу пришлось везти на себе.

Наконец появился сам Ясненский. Осколок попал

ему в шею, она была туго перевязана, и Ясн-ский не мог поворачивать головы. Он почти ничего не слышал от контузии. Прянишников сделал шаг навстречу и торопливо обнял его. Они сразу ничего не сказали друг другу, но когда, войдя в блиндаж, Прянишников задал Яснскому какой-то вопрос и, не получив ответа, посмотрел на Яснского, он увидел, что тот заснул в ту же минуту, как сел. И вдруг Прянишников почувствовал, что и сам смертельно устал и что если он присядет, то через минуту тоже уснет.

Он вышел из блиндажа. Кругом копошились и устранивались люди. Оставив Прохорова размещать их, налаживать порядок и обещав еще раз приехать сюда под утро, он вернулся к себе на командный пункт.

— Ну, как со снарядами? — спросил он у подполковника Овечки, который там уже ждал его.

— Все в порядке, товарищ генерал, — сказал Овечка. — К утру будет полтора комплекта.

— Смотри, Овечка, — сказал Прянишников, — все зависит от этого. Теперь они нас не соблюют, ни за что не соблюют с позиций. Но это в том случае, если будет достаточно боеприпасов, а малейший перебой — и придется туго. Как с дорогами?

— Только под вечер опять мосты разбились, — сказал Овечка. — Сейчас уже из тылов весь народ

собрал саперный взвод стронт и основные и запасные мостики.

— Вот, непременно — запасные, — сказал Прянишников. — А ну, поедем, посмотрим, как строят. Я хочу своими глазами убедиться.

И они в полной темноте, одному только шоферу Коле известными путями поехали на генеральском «Вялтисе» туда, где в такой же тьме, наощупь, сотни людей строили временные мостики через ручейки и овраги, преграждавшие путь из тыла на передовые позиции.

Время уже близилось к рассвету. Начинались третьи сутки боя.

Когда впоследствии Прянишников вспоминал о третьем, четвертом, пятом дне этих боев, в памяти его они вставали как одно целое, большое и непрерывное. Если в первые же часы боя у всех в дивизии родилось подчас поражающее даже их самих внутреннее спокойствие, то на третьи сутки боя к этому спокойствию еще начала прибавляться уверенность в том, что немцы не только вообще не пройдут, но в частности не пройдут именно вот здесь, на этой позиции, которую к исходу вторых суток заняла дивизия и с которой она уже больше не отступала ни на шаг.

Третьи сутки были вообще гораздо тише того, что было до них, и того, что последовало потом. Очевидно, немцы понесли невозможные потери, а главное их командовавшие еще колебались давать

новые резервы, и на третьи сутки немцы больше делали вид, что наступают, чем наступали на самом деле. Принципиалов воспользовался этим для того, чтобы заставить всех лихорадочно укреплять позиции. Это было не так-то просто делать: люди смертельно устали и засыпали при каждом удобном случае. Но он все-таки заставил, и когда на четвертый день немцы, пополнившись танками и подбросив на поле боя еще одну пехотную дивизию, начали наступать с прежней яростью, они были встречены по всем правилам военного искусства, начиная с первого же рубежа, на который они пытались продвинуться. Ни в этот, ни в следующий, пятый, день боев, хотя перед фронтом дивизии несколько раз одновременно действовали по двести танков, ни одному из них не удалось прорваться даже на уровень командных пунктов батальонов. Все они, сгоревшие и подбитые, оставались или перед передним краем или на уровне первой линии окопов. Их уже перестали делить на простые танки и «тигры», а говорили обо всех «танки» или обо всех «титры», в зависимости от темперамента говорившего. Этим однообразным в обоих случаях называнием подчеркивали то, что в конце концов подбивать и жечь можно и те и другие. Спокойствие бойцов рождалось оттого, что они своими руками поджигали танки и, сидя в окопах, когда танки подходили вплотную, оставались живыми, и оттого, что на их глазах артиллерия, как они выражались, «по-

чем зря» подбивала эти «тигры», и оттого, что в приказах командиров, в их спокойствии, в самом воздухе боя чувствовалась непробиваемость нашей обороны.

Прянишников, к которому сходились все нити боя и который знал больше, чем все остальные, был спокоен потому, что дивизия выдержала первое, самое страшное, и еще потому, что она выдержала это с меньшими силами, чем она располагала теперь. Ему постепенно подбрасывали артиллерию, а на исходе четвертого дня пододвинули в его распоряжение новую танковую бригаду взамен той, которая во второй день приняла на себя главный удар немецких танков и теперь преобразовывалась в тылу. Вновь приданная бригада была предназначена для ввода в бой в критическую минуту. Хотя несколько раз казалось, что эта критическая минута вот-вот наступит, Прянишников все-таки не признал ни один из острых моментов боя этой критической минутой. Он предчувствовал возможность будущего наступления не с какой-то особенной скупостью берег для этого танки.

Когда в середине пятого дня боя немцы ввели в действие наибольшее количество танков и казалось, вот-вот они прорвут оборону, когда командир танковой бригады, наблюдавший все это, спеша по телефону с Прянишниковым и сам просил разрешения немедленно ввести его в бой,

Прянищников ответил, что не нужно, что он обойдется и одной своей артиллерией. И действительно, это оказалось ненужным. Когда танки ворвались в ротные районы полка Бессонова, Прянищников ввел в бой сразу одним ударом два полка артиллерии, подвезенные к нему еще вчера, но до сих пор не сделавшие ни одного выстрела, и танки были остановлены.

К утру шестого дня боев на участке дивизии находились, не считая собственного артиллерийского полка, еще восемь постепенно подтянутых полков артиллерии, часть из которых Прянищников еще ни разу не вводил в бой. Все пространство перед передним краем и самый передний край были пристреляны заранее и перекрывались тройным огнем — огнем полковой, батальонной и дивизионной противотанковой артиллерии, огнем тяжелой артиллерии и пачкопец, огнем «катюш». Каждый квадрат поля боя, как и шахматах, был трижды защищен, не говоря уже о чисто нехотных средствах, таких, как гранаты или противотанковые ружья.

При наличии таких средств, оценивая эту оборону как неприступную, Прянищников весь шестой день, который отличался общим затишьем, с нетерпением ждал, когда немцы бросят на его участок Товые силы. Ему хотелось перемолоть здесь как можно больше танков, а он чувствовал, что, сколько бы немцы ни бросили их — двести

или триста, он все равно их теперь перемелет.

Но немцы перестали наступать, на шестой день они молчали, к большому огорчению Прянишниковова, жаждавшего померяться с ними силами, находясь во всеоружии. Примерно то же самое, с небольшими вариантами, творилось и перед фронтом остальных дивизий. В пятидневных боях немецкое наступление выдохлось, и теперь немцы должны были повторить его снова или... Это «или» в последние дни начинало чувствоваться в воздухе, и его с нетерпением ожидал Прянишников.

В десять часов вечера на седьмые сутки артиллерийская канонада с немецкой стороны вдруг потрясла воздух. Сотни и тысячи снарядов и мин всех калибров разом обрушились на наши позиции, и сумасшедший артиллерийский ад, какого не было даже ни в один из этих дней наступления, творился в течение двух часов. Затем сразу все оборвалось. Прянишников находился в блиндаже, где он пережидал артиллерийский палет. Он отдал по телефону приказание во все полки немедленно выслать усиленную разведку; а также вести разведку боем, преследуя отступающего противника.

— Понимаете, отступающего противника, — и, положив трубку, обратился к Гриценко: — Отступающего, верно? Как ты считаешь?

— Думаю, что да, — сказал Гриценко.

— А я убежден, — сказал Прянишников. — Через час мы это выясним точно. Они сделали эту ложную артиллерийскую подготовку, чтобы напугать нас предстоящей атакой; а сами под прикрытием ее отходят. Честное слово, отходят.

— Куда, вы думаете, они отходят? — спросил Гриценко.

— На прежние весенние позиции, с которых начали наступление. Они же тут невыгодно расположены. Где мы их остановили, там они и застряли. Если бы мы вдруг перешли в контр-наступление, им тут не устоять, не зацелиться. А если уж начнут они отступать, то с ходу могут проскочить, отступить и за основные позиции.

Через час из полков донесли, что немцы действительно начали отход, но при этом прикрывают его сильными заслонами, и разведка всюду натывается на ожесточенное сопротивление.

— Ничего, — сказал Прянишников. — Пусть дерутся. Утром всей дивизией будем преследовать. Эти километры, насколько я продвину, мы пройдем легко, а вот если будем прорывать их старый передний край, то тут придется повозиться.

В эту минуту он был вполне счастлив. Он чувствовал то главное, что произошло. Немцы отступали под нашим ударом. Это значило, что, независимо от будущих событий, уже сейчас, вот сегод-

ня, их дух если не сломлен, то надломлен, и все жертвы, которые они понесли в течение семи дней боев, оказались напрасными, и те сотни танков, которые сгорели на этой площади, сгорели зря. И ощущение, что на этом участке именно его, Прянишникова, дивизия надломилась немецкий наступательный порыв, остановила немцев и вот сейчас заставляет их отступать, — это ощущение было для Прянишникова высшим счастьем и наградой. Не спавший почти все эти дни, он сладко потянулся, стащил с себя сапоги, лег на стоявшую в блиндаже раскладную койку и сказал, если все будет идти так, как идет, чтобы его не будили до пяти утра: он хочет спать.

Проснувшись утром и узнав, что почные предположения подтвердились и что немцы с боем продолжают отходить, повидимому, на прежние позиции, Прянишников приказал начать еще более решительно, чем раньше, преследование и затребовал из штаба данные о наличном составе дивизии. В течение семи дней боев дивизия поредела. Это были, конечно, тяжелые потери, и особенно тяжелые потому, что, как всегда водится, главные приходились на пехоту — на батальоны, на роты, — на те активные штыки, которым предстояло свершить главное дело в наступлении.

Но было одно обстоятельство исключительной важности, которое вселяло в Прянишникова полную уверенность в то, что и при таких потерях, с этими поредевшими батальонами можно успешно.

вести наступление. Если раньше у него в дивизии была только часть людей, прошедших тяжелую сталинградскую школу, испытавших все и поэтому уверенных в себе, то теперь люди его дивизии испытали труднейшие дни, не уступавшие по своему напряжению сталинградским. После всего пережитого за эти дни и после того психологического подъема, который родился, когда немцы были остановлены, отбиты, сломлены и вынуждены отступить — после этого каждый из его солдат стоит двух, — вот это и вселяло в Ирянишниковую полную уверенность в возможности наступления.

Начавшееся с рассветом преследование немцев шло весь день, хотя, собственно говоря, на ряде участков назвать это просто преследованием было бы не совсем верно. После того, как немцам не удалось обмануть Ирянишникова и под прикрытием мнимой артподготовки оторваться и спокойно отойти на прежние позиции, их части, прикрывающие отход, стали ожесточенно цепляться за все промежуточные рубежи, стараясь нанести нам возможно большие потери. Ирянишников, в свою очередь считая, что главная задача начинается перед старым передним краем немцев, старался избежать больших потерь и приказал вести преследование и бой энергично, но с применением возможно меньшего количества живой силы. В каждом полку преследовало немцев непосредственно по одному батальону, а остальные только подтя-

живались вслед за ними. Прянишников приказал идти вперед с наступающими частями максимально большому количеству артиллерийских наблюдателей, которые каждые полчаса или час давали непосредственно с поля боя новые данные о перемещении немцев, и артиллерия благодаря этому покрывала их в течение дня с большой точностью всюду, где они задерживались, не давая им нигде прочно зацепиться.

В конце дня, когда определялось, что к ночи наши передовые части доберутся до новых, весенних, позиций и по всему фронту войдут уже в тесное соприкосновение с постоянной немецкой обороной, Прянишников выехал вперед и выбрал себе новый наблюдательный пункт километров на пять впереди от старого. Это было очень удобное место — гребень одного из холмов, позади которого лежал глубокий, заросший зеленой овражек.

Прикрывая отход своей части, немецкая авиация все время летала над полем боя, и едва Прянишников успел переехать на новый наблюдательный пункт, где ему должны были отрыть блиндаж, как тотчас же попал под бомбежку. К счастью, бомбежка была безрезультатной, но поблизости оказались всего три-четыре сапера, и работа подвигалась медленно. Прянишников послал своей «Виллис» назад, чтобы на нем привезли саперов, а сам продолжал с пригорка наблюдать за полем боя. В это время к нему привели двух

немцев, только что захваченных в полку Сухова.

Обтрепанные, унылые, поживаясь от вечернего холодка: пленные молча топтались перед генералом. Он задал им через переводчика несколько вопросов о номерах дивизий, которые вели здесь бой, и о подходе резервов. Немцы с быстротой, даже с угодливостью, которая, как всегда при неудачах, приходит у них на смену лагловатости, отвечали на все вопросы и, судя по предыдущим показаниям других пленных, отвечали в общем правду. Расспрашивать об их настроении Прянишников считал излишним: оно было ясно и по их унылым лицам, и еще более ясно было по тем событиям, которые происходили на фронте. Прянишников решил, что с ними больше не о чем разговаривать. Он осмотрелся, лица кого-нибудь, кто мог бы отвести их в тыл, и его взгляд остановился на двух саперах, рывших щель. Они торопились, как могли, и работали бесшумно, — рубахи их взмокли от пота, и капли его градом катились по их лицам.

— А ну-ка, — сказал Прянишников саперам, — отведите пленных в штаб.

К ночи все полки вплотную подошли к переднему краю немцев. Уже в темноте Прянишников прошел по окопам. У людей было хорошее настроение и вообще — оттого, что они наконец наступали, и в частности оттого, что их глазам в этот

день представились результаты большого боя: немцы успели зарыть большинство трупов, но разбитые пушки и минометы, пустые корзины подбитых и сожженных танков десятками стояли на поле боя, и их сегодня своими глазами видел каждый боец. То, что, грохоча и изрыгая железо, шло на них, теперь стояло здесь, тихое и безвредное. И хотя сами бойцы поджигали немало танков, сейчас, когда они могли пройти мимо и потрогать их руками и посмотреть,— это вызывало у них чувство несказанного удовольствия и гордости.

Утром из армии был получен приказ о переходе к общему наступлению и подготовке к прорыву немецких позиций. Одновременно для сведения Прянишникову сообщали, что началось и в полном разгаре идет наше большое наступление в районах Орла и Белгорода. Он сейчас же вызвал Прохорова и рассказал ему об этом, для того чтобы весть о нашем наступлении уже сегодня, в середине дня, была известна каждому бойцу. Сам Прянишников, вызвав к себе начальника штаба и начальника артиллерии, стал разрабатывать план прорыва немецких позиций на своем участке. Район этот был хорошо разведан еще весной, и сейчас у Прянишникова на карте была отмечена вся система немецких окопов и довольно многочисленных дзотов. Часть артиллерийских полков из резерва главного командования, приланных ему в критические дни немецкого наступления, те-

перь ушла от него на юг или на север — туда, где происходили события наибольшего масштаба. Но полк его собственной артиллерии да три еще оставшихся у него, приданных, представляли собой силу, с которой можно было пойти на прорыв оборонительной полосы.

— Главное, — сказал он начальнику штаба и начальнику артиллерии, — это система их дзотов. В общем, насколько я знаю, на нашем участке их больше пятидесяти. Я думаю брать их в основном по-сталинградски — штурмовыми группами, одновременно сочетая действия этих штурмовых групп с обычным наступлением цепями. Если это провести точно и аккуратно, то должно выйти хорошо. Танки будут действовать главным образом против линий окопов, а штурмовые группы брать дзоты.

Он тут же составил приказ, по которому в каждом из полков создавалось по десяти — пятнадцати штурмовых групп, каждая, по сталинградскому примеру, из двенадцати — пятнадцати человек, в составе которых были автоматчики, саперы и по одному легкому штурмовому орудию для стрельбы прямой наводкой. Сталинградский опыт показал, что при решительных и смелых действиях таких небольших штурмовых групп даже наилучшим образом укрепленные дзоты берутся в кратчайший срок и с наименьшими потерями. Этот способ действия, по мнению Прянишникова, дол-

жен был оправдать себя и здесь, только надо было пересмотреть его в зависимости от разницы условий. Здесь, где дзоты разбросаны были на сравнительно большом пространстве и между ними шли изрядные промежутки окопов, целесообразно было соединить сталинградского типа штурмующие группы с обычной, по уставу в полевых условиях действующей пехотой.

Весь этот день длилась тщательная и в то же время стремительная подготовка к завтрашнему штурму. Пришибиников чувствовал, что немцы в значительной степени деморализованы и неудачным наступлением и своим последующим отходом, и чем меньший промежуток времени будет у них для того, чтобы освоиться на своих старых укреплениях и притти в себя, тем больше шансов на успех имеет атака. Эта же мысль, как он понимал, была заложена и в общем приказе по армии.

Отдав общие распоряжения по дивизии, Пришибиников почти весь день провел в полках, лично наблюдая за формированием штурмующих групп, стараясь добиться того, чтобы в каждой из них было хотя бы два-три сталинградца. Чем больше в этот день разговаривал он с командирами и бойцами, тем сильнее в нем крепла уверенность в том, что его дивизия, несмотря на потери, все равно ощущает себя полноценной более, чем когда бы то ни было. Среди солдат распространилось то великодушное убеждение, которое он наблюдал в конце сталинградской осады у своих бойцов,—

убеждение в том, что немцев вполне можно бить. Люди вкусили сладость трудной и заслуженной победы и сейчас, победив немцев в обороне, каким-то шестым чувством ощущали, что они победят немцев и в наступлении. Когда Пришибиников вернулся к себе на наблюдательный пункт, казалось, все уже было подготовлено к завтрашнему штурму. Он еще раз проверил, выполнены ли все его распоряжения, вплоть до самых мелких, проверил по карте правильность позиций, занимаемых артиллерией, и лишний раз осведомился и уточнил, на какую глубину с этих позиций артиллерия сможет сопровождать пехоту в случае удачного прорыва и дальнейшего продвижения вперед. Несмотря на то, что все, казалось, было готово, Пришибиников волновался. Он два раза пробовал прилечь поспать, но это ему не удавалось. Разные мысли обуревали его, и он еще и еще раз спохватывался и проверял мелочи, которые все без исключения сегодня казались ему важными. Наконец, желая быть завтра «в форме» и чувствовать себя бодрым, он заставил себя заснуть на час.

Когда он проснулся, было еще темно. На горизонте чуть-чуть начинала сереть полоска рассвета. Он потребовал к себе парикмахера и побрился в блндаже при свете двух свечей. Потом он снял гимнастерку, вытащил из-под койки чемодан,

достал оттуда звеский воротничок и приказал подшить его. Когда все эти приготовления были закончены и он, посвежевший, подтянутый, вышел из блиндажа, было уже совсем светло, и стрелы часов подходили к пяти.

— Ну, начинаем сейчас, товарищ генерал? — спросил подошедший к нему Гриценко, тоже свежесвыбранный и державшийся как-то несколько даже торжественно.

— Начинаем, — сказал Прянишников.

Ровно в пять его артиллерия заговорила в один полос с артиллерией соседних дивизий, и после короткой, но сильной артиллерийской подготовки в половине шестого пехота, таща рядом с собой полковые и батальонные пушки, пошла в атаку.

С наблюдательного пункта были хорошо видны дымы разрывов по всей немецкой полосе укреплений и вспышки ответных выстрелов немцев. Над головами, тяжело гудя, в большом количестве прошла наша штурмовая авиация, и в первые же минуты атаки на линиях немецких укреплений словно вырос темносиний лес густых разрывов авиабомб.

Наблюдательный пункт был выбран удачно, и поле боя, особенно правый фланг его, можно было отчетливо наблюдать в бинокль. Пехота дружно шла цепями, от которых, как можно было различить опытным глазом, отделялись штурмовые

группы, то там, то здесь начинавшие вплотную подходить к немецким дзотам.

Прянишников, совсем вблизи видевший все это в Сталпграде, сейчас следил в бинокль за движением маленьких точек и в уме восстанавливал всю картину штурма этих дзотов. Вот саперы поползли вперед со своими железными щупами, разминировав путь. Вот выкатили на передовые позиции штурмовые орудия и ведут огонь по амбразурам дзота. Вот дзот, в свою очередь, переносит главный огонь по орудию и ввязывается в борьбу с ним. Тем временем автоматчики ползут вперед. Вот они делятся надвое, и большая часть их остается в непосредственной близости к дзоту, ведя из укрытий яростный огонь по амбразурам, а двое или трое тем временем ползут в обход, ползут по-пластунски, прижимаясь к земле, вернее, вжимаясь в нее как можно теснее, и, наконец, кто-то один, потеряв своих товарищей ранеными по дороге, подползает вплотную к самому дзоту и швыряет в амбразуру связку гранат.

Все поле пестрело дымками разрывов, и в стеклах бинокля беспрестанно двигались, ползли все вперед и вперед маленькие точки атакующей пехоты. Артиллерия переносила огонь глубже, и в глубине немецких позиций беспрерывно, то там, то здесь, вставали фонтаны земли. Прянишников с трудом удерживая себя от желания сейчас же поехать вперед, хотя бы на наблюдательный

пункт полка, чтобы видеть все происходящее как можно ближе. Он запросил по телефону от всех полков сведения о продвижении. Сначала он поговорил с Суховым, потом с Бессоновым и под конец вызвал Ясинского, наступавшего в центре. Когда задание было дано и, по всей очевидности, правильно выполнялось, он не любил занимать своих командиров лишними разговорами по телефону, и сейчас только большое волнение и нетерпение заставило его изменить своей привычке и позвонить раньше, чем, может быть, это было нужно.

— Ну, соединили с Ясинским? — спросил он.

— Да, — сказал телефонист.

— Говорит тридцать первый, — сказал Пряпишников. — Ясинский?

— Нет, Кудрявцев, — ответил в телефон голос начальника штаба полка.

— А где Ясинский?

— Только что убит.

— Как убит?

— Миной на наблюдательном пункте. Сейчас выносим с поля боя.

— Как положение? — спросил Пряпишников.

— Метров тридцать—сорок от первой линии. Когда ворвутся, доложу, — сказал Кудрявцев.

— Хорошо. Доложите.

Пряпишников положил трубку. Убит Ясинский. Ясинский, у которого он столько раз бывал

в полку в Сталинграде, которого четыре раза там ранили и каждый раз легко, которого прозвали за это «бессмертным» и который еще так недавно вышел из окружения, и на этот раз только легко раненный. И его убили.

— Ясинского убили,— сказал он, обращаясь к Гриценко. — Представляете? Жалко.

Он продолжал следить в бинокль за полем боя, но все не мог отделаться от мысли о Ясинском. Он вспоминал, как тот вышел из окружения, как он его обнял и как, неожиданно для себя, тогда растрогался и чуть не пустил слезу, увидев живым и здоровым этого всегда спокойного, холодноватого и такого дорогого ему человека.

— Ясинский вас вызывает,— сказал телефопист, который знал для себя только полк Ясинского. И жив или убит Ясинский, все еще долго, наверное, будет так говорить: «Ясинский вас вызывает».

Прянишников взял трубку.

— Ворвались,— доложил Кудрявцев.

— В первую линию ворвались?

— Нет, во вторую ворвались,— издалека глухим голосом крикнул Кудрявцев. — Сейчас же, как в первую линию, так и во вторую ворвались, прямо с ходу, на плечах. Сейчас связь прервется на десять минут, товарищ генерал. Переносу свой наблюдательный пункт прямо к ним в окопы. Как перейду, опять доложу.

Прянишников снова взялся за бинокль. Подул северный ветер, и поле боя все заволокло дымом и пылью. Только изредка были кое-где видны крошечные перебегающие фигурки людей и столбы манных разрывов. Шло наступление. Наконец шло наше летнее наступление!

— Гриценко, — сказал Прянишников.

— Да?

— По-моему, мы сегодня прорвем всю эту линию их позиций.

— Да, должны, товарищ генерал.

— Не должны, а прорвем. Уже чувствую, что прорвем, — сказал Прянишников. — Это я утром говорил, что должны. А сейчас чувствую — прорвем. Сколько сейчас километров от Сталинграда до нас, а?

— Да километров семьсот — восемьсот.

— Восемьсот? Если уж мне, как Ясинскому, не суждено будет дожить до самого конца войны, — сказал Прянишников с неожиданным воодушевлением, — то хочу помереть на поле боя так, чтобы от моей спины до Сталинграда было по крайней мере две тысячи километров и ни одной русской деревни впереди, чтобы все позади были. Красиво, а. Гриценко?

— Красиво, товарищ генерал.

— А ну-ка, — сказал Прянишников обычным голосом, — прикажите дивизиону «катюш» открыть огонь по развилке дорог, что у отметки

сто девятнадцать. Если мне не изменяет чутье, они в центре начали отходить, и именно по этой дорожке. Сейчас мы их там накроем. Ну, скорей!

Он подождал с минуту, подняв голову и прислушиваясь, и, когда над ним пронеслись в сторону помцев стремительные золотые стрелы залпоз, поднял голову еще выше, закинул ее и проводил эти мылающие слитки огня и металла счастливым взглядом человека, любящего бой и охваченного восторгом победы.

Действующая армия

Север

ПОЛЯРНОЙ НОЧЬЮ

Это было в одну из долгих полярных ночей. То ныряя в облаках, то снова появляясь из-за гор, светила бледная осенняя луна. Неровный серый свет полярной ночи смешивал все очертания, и скалы, которые днем высоко громоздились над аэродромом, сейчас, казалось, мягко спускаются к нему, их очертания заволакивало легкой дымкой.

Майор Цыбульник, выпускавший и принимавший в эту ночь самолеты, поживаясь, шагал по хрустящему снегу. Были последние минуты ожидания. Майор посмотрел на светящийся циферблат часов. Сейчас должны возвращаться бомбардировщики после налета на Луостари, уже второго за эту ночь.

Наконец привычное ухо расслышало гудение мотора, и еще через несколько секунд самолет

с зажженными сигнальными бортовыми огнями стал делать круг, заходя на посадку. Судя по времени вылета, это возвращался Башкиров. Да, конечно, это он. Вот он делает круг и точно, как всегда, заходит на посадку. Но подождите: что такое? Уже совсем снизившись, он не убирает вовремя газ и, явно промазывая, с ревом идет над центром аэродрома.

— Ракету! — крикнул Цыбульник, и в воздух взвилась красная ракета, запрещающая посадку с этого захода.

Башкиров набрал высоту и ушел на второй круг. Теперь уже майор внимательно следил за его самолетом. В чем дело? На второй круг Башкиров зашел еще хуже, чем на первый, развернулся совсем близко над самым аэродромом и промазал так сильно, что о посадке не могло быть и речи.

«Может быть, ранен», — мелькнуло в голове у майора, и он снова, дав красную ракету, приказал идти на третий круг. Башкиров развернулся и на этот раз, очевидно, решив садиться с запасом, ушел от аэродрома так далеко, что на мгновение стоявшие на земле потеряли звук самолета. На третий раз самолет подошел к аэродрому почти на бреющем полете. Майор приказал дать ему снизу прожектора. Самолет все снижался, снижался и уже подходил к земле с небольшим углом, но в самую последнюю минуту Башкиров почему-

то не выбрал до конца газа, и самолет, не успев выровняться, ткнулся в землю, самортизировал и стал на нос перпендикулярно земле.

Майор побегал к самолету. Или Башкиров был серьезно ранен, или эта посадка была для него непростительной. Прежде чем майор добежал до самолета, от него отделилась темная фигура, — одна, а не две, как обычно. Майор увидел перед собой стрелка — бомбардира Губина. Его с трудом можно было узнать. Шлем у него был сбит набок, очки сдвинуты со лба наверх, а лицо было темное, покрытое кровавой запекшейся коркой. Губин усталым движением приложил руку к шлему, с трудом сдвинул каблуки и сказал глухим срывающимся голосом:

— Товарищ майор, задание выполнено: бомбы сброшены на Луостари. Летчик убит. Привел самолет я.

Самолет стоял в странном положении, опираясь на нос и одно крыло, задрал хвост к небу. Он был совершенно цел, и казалось, что его нарочно так взяли и тихо поставили на землю, как памятник. Мимо него с огнями заходили на посадку все новые и новые бомбардировщики. Майор и Губин молча стояли рядом и смотрели, как техники выпимают из кабины холодное, неподвижное тело летчика.

Всего час назад... Нет, сказать, что Губин запомнил этот час на всю свою жизнь, — сказать

так было бы мало. Ему казалось, что в его глазах всегда будет стоять то, что он видел за этот час, что на лице своем он будет всегда чувствовать эту кровавую застывшую корку, что в руках его всегда останется ощущение этой ручки газа, которую он никак не может дожать до конца, что в его ушах всегда останется проклятая тишина, которая была тишиной, несмотря на рев мотора, потому что в ней не было звука человеческого голоса.

Час назад они вылетели на Луостари во второй полет за эту ночь — он и Сережа Башкиров, его пилот и старший товарищ, которому уже перевалило за второй десяток. Ночь была хорошая. Луна то показывалась, то пропадала, но главное, что редко бывает в этих гиблых местах, между гор не полз туман, и можно было разглядеть цели. Луна, когда она показывалась, была с юго-востока, и они выбрали для бомбежки заход на нее с северо-запада.

Луостари было хорошо видно внизу. На этот раз их самолету было приказано бомбить помещение штаба. Они стали снижаться, маленькие квадратные домики, увеличиваясь, приближались к ним. Приходилось выравнивать машину, потому что сильный правый ветер заносил ее влево. Снизу начали бить зенитки. Башкиров развернулся прямо на батарею. Губин прицелился и сбросил первые шесть бомб. Перекрывая рев мотора,

справа и сзади послышался сильный треск зенитных разрывов, и близкие вспышки осветили самолет. Теперь, сбросив бомбы, нужно было уходить вправо. И вдруг Губин с удивлением заметил, что машина поворачивает не вправо, а влево, снижаясь так, что зенитки оказывались под самым брюхом самолета.

— Сергей! — крикнул Губин. — Сергей, куда ты? Надо влево. Зачем ты на зенитки?

Между тем машина уже сделала виток и со все нарастающей скоростью шла вниз. Губин приподнялся над целлулоидным козырьком кабины посмотреть, что случилось. Башкиров неподвижно сидел в кабине, повалившись головой на левый борт.

— Сережа!

Молчание. И вдруг что-то темное залепило очки Губина. Он опустил за козырек, сдвинул очки на лоб и взялся за контрольную ручку. Самолет был старого типа — такой, на каких в школах выпускают учеников в первые самостоятельные полеты, и теперь, когда он был приспособлен для войны, бомбардир сидел в нем там, где раньше, бывало, сидел инструктор.

Сосредоточив в эту секунду все внимание на контрольной ручке, Губин стал выводить машину из витка. Зенитки, совершенно остервенясь, считая, что самолет стал уже их жертвой, осыпали небо бенгальским огнем разрывов. На четырех-

стах метрах Губин вывел машину. Он вел ее над самыми зенитками и, развернувшись с этой высоты, сбросил на них бомбы. Он сбросил их так низко, что силой взрыва машину подбросило в воздух.

Зенитки замолчали. Губин повернул и со снижением стал уходить на восток. Он еще раз попробовал высунуться над козырьком и посмотреть, что делается с Башкировым. Башкиров сидел, привалясь к борту, все так же неподвижно, и Губин почувствовал, как по его лицу ударяет чем-то мокрым. Он опять опустился под козырек и, на секунду высвободив руку, отер ею глаза, — рука была в крови. Это была кровь Башкирова, и теперь Губин наверное знал, что Сережа убит. Осталось только его тело — тело, которое надо привезти домой во что бы то ни стало.

Губин вдруг вспомнил, как все последние три месяца, возвращаясь после бомбежек, Башкиров упорно учил его водить самолет хотя бы по прямой. «Мало ли что может быть, — говорил он. — Веди, веди, попробуй».

А сам, контролируя полет, иногда поворачивался и смотрел на Губина со своей обычной веселой и одобрительной улыбкой. «Держись, бомбардир, — как будто говорил он. — Держись, летчиком будешь».

Теперь он сидел впереди, неподвижный, мертвый. И кровь его, захлестывавшая козырек, по-

крыла лицо и очки Губина. Губин еще раз вытер глаза. Ветер резал их, в них стояли замерзавшие слезы. Лететь было трудно, невозможно было следить за горизонтом, потому что Башкиров, склонившись на борт, заслонял поле зрения. Приподнявшись над козырьком и на секунду оторвавшись от управления, Губин попробовал подвинуть тело Башкирова. Но как только он отпустил ручку, самолет качнулся и начал переходить в штопор. Пришлось отбросить эту попытку и снова взяться за ручку.

Так повторялось несколько раз. Предстояло пройти еще не один десяток километров над Финляндией, а между тем у него в задней кабине были только ручка управления да сектор газа, не было ни одного прибора, не было даже переключателя бензина, и если бы в верхних баках кончилось горючее, он бы не смог перевести питание на нижние баки.

Самолет шел над редкими хвойными лесами Северной Финляндии, над скалами, за которыми где-то, в десяти километрах, начинался Ледовитый океан. Все внизу было темно, однообразно. По белым молочным шарам далеко внизу висевших сигнальных ракет, по вспышкам выстрелов Губин понял, что сейчас, в эту минуту, он перелетает ливию фронта. Теперь осталось добраться до аэродрома и затем главное — сесть.

Башкиров терпеливо учил его ходить по пря-

мой, и он делал это не плохо, но никогда Губина не покидало ощущение, что твердая и верная рука его друга каждую секунду готова исправить ошибку, выровнять самолет. Всегда они были вдвоем.

Но теперь Башкиров был мертв, и Губин оставался один, совсем один. Ему предстояло самое трудное — сесть самому, без света, без страхующей руки друга. Он много раз раньше просил Башкирова разрешить ему самостоятельно посадить самолет, но Башкиров нещадно отказывал ему в этом, говоря, что, еще не научившись летать, нечего и думать о том, чтобы садиться.

Прошло еще двадцать минут. Губин распознавал внизу знакомые очертания аэродрома. Он сделал круг и, привстав в своей кабине, чтобы все-таки видеть землю через плечо Башкирова, повел самолет на посадку.

Он вспомнил разом все их полеты, совершенные вместе, все шуточные, дружеские выговоры, которые получал он от Башкирова за свои ошибки и погрешности. Он вспомнил все, что было связано с ним, с его другом, с их самолетом.

Нет, Губин должен был посадить самолет. Он рассчитал все точно и сел бы, наверное, на самой середине аэродрома, около выложенного на земле «Т», но, когда он уже начал снижаться все больше и больше и когда земля уже не летела, а бежала под ногами и ему оставалось

только убрать совсем газ для того, чтобы сбавить скорость и выровнять над самой землей машину в горизонтальное положение, оказалось, что газ дальше не убавляется. Нельзя его убрать, как обычно, потому что последним усилием воли Башкиров удержал руку на секторе газа, и теперь эта заостренвшаяся рука, сжимающая сектор газа, не давала до конца выжать его с заднего сиденья. Губин остался один-на-один с машиной, и никто уже не мог помочь ему, — никто на свете.

В первую минуту, проносясь над аэродромом, Губин решил, что он все-таки сядет. Но в следующую минуту он почувствовал, что нет, он должен зайти еще на один круг, а если попадется, то еще на один, но посадить машину так или почти так, как сажал ее Сергей Башкиров...

...Доложив, Губин отошел от самолета и стал прохаживаться по аэродрому. Ему хотелось совладать с собой — с ощущением утраты, с воспоминаниями о прекрасной солдатской и юношеской дружбе. Башкиров лежал неподвижный, беспомощный, и так же, как он ничем не мог помочь Губину в воздухе, так и Губин ему сейчас ничем не мог помочь.

Губин чувствовал, как внутри у него что-то оборвалось, и понял, что сегодня, вот в этот час, кончилась его юность с первыми полетами, с верой в то, что все его друзья обязательно выживут.

И вместо всего этого в душе росло другое чувство — какое-то упорство, молчаливая, сдержанная ненависть мужчины. Губин закрывал глаза, и перед ним проносились приближающиеся финские города, села, заснеженные равнины. И туда, вниз, на эту приближающуюся землю, летели черные капли бомб. Ему хотелось мстить так, чтобы эта месть была осязаемой, как удар кулаком. Ему казалось, что он вбивает эти бомбы в землю, в самолеты, в ангары.

Сжав веки, он на секунду закрыл лицо руками и потом открыл глаза. На аэродроме было тихо. Последний самолет, делая круг, гудел где-то далеко, к востоку. Земля лежала холодная и звонкая. Голова была тяжелая: казалось, что в ней ворочается что-то большое и шумное. Губин сжал руками виски. Кожа на лице была шероховатая, и под пальцами он почувствовал застывшие капли крови. «Надо смыть», — подумал он.

Уже идя по направлению к баракам, он повернулся и увидел свой самолет. Самолет стоял, подняв хвост, черный на фоне уже начавших белеть скал. Он был цел. Завтра его поставят на колеса, поправят одну лопящую консоль, и он вылетит на этом самолете туда же, в Луостари, где стоят эти зенитные батареи с их огненными шарами разрывов и треском, перекрывающим гудение моторов. Он полетит туда и заставит их завтра замолчать...

Рассказы

ПЕСНЯ

На Кубани стояли дождливые осенние дни. Дороги, по которым прокатилось, проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми, машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шла боком, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл, то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывали все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки

вылезла ее хозяйка — воспительдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все звали Малышкой, потому, должно быть, что она и в самом деле была постоянная малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким, детским, голосом и руками и ногами такими маленькими, что, казалось, на них во всей армии не подберешь подходящей пары перчаток или сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошему лицу строгое выражение, спросила:

— Ну, где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжело раненных. Малышка вошла, посмотрела, сказала: «Ну, вот, сейчас я вас отвезу» и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного раненого на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Трое лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и в грудь, один в голову. Малышка физически всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата, — двадцать километров страшных рытвин и ухабов. — и представила себе опять эти толчки и падения

уже не на своем теле, а вот на этих кровотокающих, израненных телах, лежавших перед ней на земле. При этой мысли она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лице вернулась обычная добрая улыбка, с которой она вот уже полгода вытаскивала из огня раненых, перевязывала их, увозила в тыл.

Сначала они с санитаром перенесли тех, кто был ранен в ноги, — их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в ленточке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полуприкрыл у стенки сарая и то открывал глаза, то снова закрывал их, словно впадая в забытие. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей ленточки. Но, когда она вошла и сделала шаг к нему, с тем, чтобы сказать ему об этом, он, видимо, понял это так, как будто его сейчас тоже возьмут, и невольным движением, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, казалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она. — Сидя ехать можете?

— Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему подмышку, дотасила его до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на крыле, — сказала Малышка весело.

— Свалитесь, — угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь, — ответила Малышка и в доказательство этого, немедленно захлопнув за раненым дверцу, легла на крыло, вытянув ноги на подножку и крепко схватившись одной рукой за кабину, а другой за край крыла.

— Товарищ военфельдшер... — начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать для того, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как

утка, переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который болью отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало и ударяло о дно машины. Два или три раза она сама чуть не свалилась на ухабах, но, уцепившись за крыло и все-таки удержавшись, сама себе улыбалась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с крыла, подбежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было ни одной машины, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да, — сказала хозяйка. — Вот уже час, как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло: они все сложили быстро и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил усатый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый,— ответила Малышка.— Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненый в живот, лежавший чавзипчъ, и застопал.

— А ты зря языком не болтай,— сердито сказал ему усатый. — Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли», а на то, что раненый стопнет при ней, при Малышке. У нее дрожали руки не от холода, а от усталости, от того, что всю дорогу приходилось так крепко цепляться за крыло, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет, — сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет, — сказала Малышка. — Я ничего... Поедем поскорей.

Она снова легла на крыло, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не слезала с крыла во время этих остановок: ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то

ее онемевшие пальцы не смогут снова ухватиться за крыло. По ее расчетам машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер бил навстречу, и дождь валил сплошной косой стеной, заливая лицо и глаза. Крыло стало скользким, и ей много раз казалось, что вот-вот она свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колено проваливаясь в грязь, побежала к дому, где она как-то была у начальника госпиталя. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у которой возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь, — сказал красноармеец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село, отстоящее на сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного. никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли мы, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут. Еще вот пригорок, еще поворот, еще несколько домов, и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров,—еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, осветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — сказал старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он понимает, что придется ехать дальше.

— Уехал госпиталь,— сказала Малышка упавшим голосом. — Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них. Видимо, он почувствовал, что стоит оттого, что нет уже больше сил человеческих.

— Дотерпим,— сказал он. — Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской,— сказала Малышка.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю,— сказала Малышка, удивленная этим вопросом, который, казалось ей, не имел никакого отношения к тому, дотерпят они или не дотерпят.

— «Скакал казак через долину, через манджурские края»... знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтобы стонов этих самых не слышать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо,— сказала девушка.

Она легла на крыло, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи и гудение мотора она услышала, как в кузове сначала один; потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через манджурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, что вот-вот она сейчас перевернется в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
...Вот год прошел. Казак стрелюю
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она начала подпевать. И когда она запела тоже, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого,

что они поют, я, паверное, если кто-нибудь из них стоит, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла с крыла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно, — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете.

Навстречу шла ему старушка
И стала речи говорить... —

заводил усатый хриплым сильным голосом.

— Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала... —

подтягивали все остальные.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть, — сказал усатый. — Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильнее и сильнее, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась. —

Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все

еще лилась песня... Ее затагивали снова и снова. Голоса стали тише, двое или трое совсем молчали, должно быть, потеряв сознание, но остальные пели:

Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Казак свернул коня налево,
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица, — сказал усатый, когда его осторожно клали на носилки. — Значит, под Каменской живешь? После войны приеду сына за тебя сватать.

Он был весь мокрый, даже усы, намоченные дождем, по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо улыбнулось озорной, почти мальчишеской улыбкой.

Она заснула, не раздеваясь, в приемном покое, присев на корточках на полу у печки. Ей снилось, что по долине скачет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивала во сне.

— Замучилась, бедная, — сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром они стащили с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыли ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и,

уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате вместе с шоферами, исправлял карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка, ясно, — она и чорта заставит ехать, если для раненых нужно, — одним словом, — сестра милосердия.

Южный фронт

ВОСЬМОЕ РАНЕНИЕ

Восьмое ранение он получил в песках под Моздоком. Был очень холодный ноябрьский день. Еще ночью задул сильный ветер с Каспийского моря и продолжался весь день не переставая, сметая с песчаных горбылей снег, засыпая колючей порошей пушки, забиваясь под воротник шинелей.

Был день как день,—обычный, такой, к которым за полтора года войны Корниенко уже привык и не находил в нем ничего особенного. С утра было тихо, к полудню немецкие артиллеристы начали ловить его батарею, но не поймали. Потом стоявший слева полк атаковал несколько танков. Корниенко открыл огонь и поджег один танк, остальные ушли. Потом часов до пяти вечера опять было тихо.

Дул такой промозглый ветер, что даже во время боя, работая у орудий, люди кутались в свои синие выцветшие башлыки, плотно обвязывая их вокруг воротника шинели. Только сам Корниенко поднял уши у шапки и опустил воротник, а баш-

лык заправил за ремень. Ему было так же холодно, как и всем, но пять дней назад его контузило, он плохо слышал, и ему все казалось, что это оттого, что мешают шапка и банты. Но, избавившись от всего этого, лучше слышать он не стал, и когда в пять часов вечера на батарею налетели бомбардировщики, он, стоя в отдалении от своих казаков, не услышал гула, переходящего в свист, и бросился на землю только в ту секунду, когда где-то совсем рядом раздался взрыв.

Восьмое ранение было в живот. Он почувствовал боль и, преодолевая ее, попробовал сесть. Но руки скользили по снегу, и сесть ему долго никак не удавалось. Наконец, застонав от боли, он все-таки сел и теперь, плотно опершись руками о землю, попробовал встать. Всегда в такие минуты, когда он бывал ранен, ему казалось, что главное — встать, оторваться от земли, тогда он преодолеет рану и останется жив. Но сейчас он не мог приподняться. Через минуту к нему подбежало несколько казаков, и, пока двое укладывали его на носилки, остальные молча стояли вокруг него. Он уже не мог посмотреть на свою рану, но, встретившись с их глазами, понял, что, наверное, вид ее был ужасен. Он почувствовал, что перед тем, как его унесут, он должен что-то сказать своим батареям, что они ждут этого. В эту минуту ему хотелось сказать им только одно, — что напрасно они так смотрят, что он не умрет.

— Достаньте, в правом кармане смертельник лежит, — сказал он шепотом.

Санитар расстегнул у него карман гимнастерки и достал оттуда черную круглую коробочку, похожую на те, в которые в домашнем быту кладут иголки. На войне же она предназначалась на случай смерти, для последней записки домой.

— Открой, — сказал Кориенко, когда санитар достал смертельник.

Санитар открыл: коробочка была пуста. Тогда, обращаясь к казакам, уже совсем тихо, так, что даже не все расслышали, Кориенко сказал:

— С финской войны еще вожу и ничего не кладу, потому что все равно меня не убьют, не имеют права.

Он сказал это почти с ожесточением, потому что его как-то обидели глаза батарейцев: ему было обидно, что они так легко поверили в то, что он может умереть. Когда его подняли с земли, он почувствовал, как будто что-то оборвалось в нем, и сразу потерял сознание.

В первый раз он очнулся, когда в полевом госпитале стали готовить его к операции. Он открыл глаза, увидел над собой знакомое лицо врача, у которого он один раз уже оперировался, и попросил, чтобы ему дали стопку водки. Врач не удивился этой просьбе: у казаков она была достаточно частой, и сам врач считал, что перед обработ-

кой раненого часто водка бывает не хуже чего-нибудь другого. Но Корниенко он отказал.

— На этот раз пельзя, — сказал он. — У вас ведь рана в живот.

— Ну, не надо, — покорно ответил Корниенко и снова потерял сознание от боли, как только ему начали промывать рану.

Следующие две недели он почти все время был без сознания. Иногда, сквозь полусон, он чувствовал, что его куда-то везут на машине, потом один раз он почувствовал раскачивание поезда, потом опять наступала темнота, и в голове его проносились какие-то дикие, странные образы, обрывки воспоминаний. — все, что потом он, как ни старался, так и не мог вспомнить. Сознание окончательно вернулось в нему только в большой прохладной комнате с высоким белым потолком и двумя длинными рядами кроватей.

— Сестрица, — сказал он и удивился, что сестра, бывшая рядом, не слышит. — Сестрица, — почти крикнул он.

Тогда сестра медленно повернулась, словно до нее долетел едва слышный шопот.

— Что за город? — спросил Корниенко.

— Ереван, — сказала сестра.

В окне виднелись крыши соседних домов, — все в желтых пятнах и бликах от южного солнца. На стене против койки висели большие часы с маятником. В первую секунду Корниенко показалось,

что они стоят, потому что они не тикали, но потом он увидел, как качается маятник, и понял, что просто он еще плохо слышит после контузии. Он со злобой вспомнил об этой контузии, которая была не только неприятна сама по себе, но из-за которой он к тому же был еще и ранен. Он постарался не думать об этом и, чтобы отвлечься от этих мыслей, решил поговорить с сестрой. Долго не мог он решить, с чего начать, потому что был неразговорчив вообще, а с женщинами в особенности. Наконец он спросил:

— Сестрица, а хороший город Ереван?

— Очень хороший,— сказала сестра. — Вот встанете, увидите.

Он попытался приподнять голову с подушки, потому что так, спизу, в окно ему было видно очень мало.

— Не надо, лежите тихо,— сказала сестра. — Вам сейчас опять будут делать переливание крови.

Так потянулись долгие недели.

Ему еще два или три раза делали переливание крови. Всего, как сказал ему доктор, в него влили почти два литра крови.

— Два литра крови,— сделав последнее переливание, сказал доктор, веселый, черноусый, начинающий толстеть армянин. — Два литра нашей армянской крови. Здоровая, хорошая кровь. Ты еще будешь молодцом, дорогой. Потолстеешь, твоему коню будет еще тяжело тебя возить.

Вспомнив о коне, Корниенко попросил принести его документы, среди которых была фотография его коня Зорьки, сделанная полгода назад одним заезжим фотокорреспондентом. Когда ему принесли документы, он показал доктору фотографию. Конь стоял на скале, около кupy деревьев, и на фотографии было хорошо видно, какой он весь поджарый, крепкий, подобранный.

— Вот конь,— сказал Корниенко врачу, не добавив от себя никакой похвалы, потому что было достаточно взглянуть на эту фотографию, чтобы видеть, что такой конь в похвалах не нуждается.

Но доктор, очевидно, никогда не бывший кавалеристом, с деланным сочувствием не понимающего в этом человека сказал:

— Ничего, хорошая лошадка,— и, бережно положив карточку около Корниенко, пошел к следующему больному.

— «Хорошая лошадка», не понимает,— сказал про себя Корниенко и, дотянувшись до фотографии, поднес ее близко к глазам. — Разве можно сказать, что это хорошая лошадка! Это же трофейный конь арабских кровей, во время разведки взятый у офицера. Да еще как взятый? Лихо взятый.

Он долго смотрел на фотографию. Был он холост и бездетен и, должно быть, оттого любил лошадей еще больше, чем остальные кавалеристы. Эта фотография была единственной, которую он возил в своем бумажнике. Правда, его товарищи

часто за дружеской беседой, после выпитой рюмки, когда из карманов гимнастерки непременно выпимаются фотографии, показывали вместе с фотографиями своих жеп и детей и фотографии своих любимых коней, но у Корниенко была только одна эта фотография, и поэтому он ее особенно ценил. Он положил ее под подушку и потом, когда его кто-нибудь навещал, если человек ему нравился, обычно показывал фотографию. Собственно говоря, я сначала не думал, чтобы в этом далеком и чужом городе кто-нибудь мог его навестить. Но его навещали. Один раз приходили школьники, другой раз зашел однополчанин, с которым он служил еще в мирное время под Кишиневом и который после ранения отдыхал здесь. Три раза заходили его навещать женщины, которые отдали ему свою кровь. Два раза они приходили все втроем, шумно и весело, и приносили ему разные вкусные вещи, которые, однако, доктор пока запретил ему есть. На третий раз пришла только одна из женщин — высокая девушка, армянка, как ему показалось, очень красивая, но такая бледная, что ему вдруг стало как-то неловко от того, что именно она дала ему свою кровь. Должно быть, поэтому он первым спросил, как ее здоровье. Она удивленно сказала:

— Хорошо.

— Вы мне бледной показались, — сказал Корниенко, — поэтому я вас спросил.

Девушка, поняв, очевидно, его мысль, стоявшую за этим вопросом, заторопилась сказать, что она всегда такая бледная, — южанка; а бледная, и даже загар ее не берет. Девушка села около него. Они помолчали несколько минут. Потом он спросил, как ее зовут. Она сказала, что ее зовут Аннуш. Разговор опять оборвался. Корниенко было приятно, что она сидит вот здесь, рядом с ним, и, в сущности, он бы мог о многом рассказать; если бы сидел рядом кто-нибудь из товарищей, то он, наверное, сразу бы вспомнил не один десяток фронтовых историй. Но то, что это было в тылу, в госпитале, и то, что перед ним сидела девушка, которая могла бы воспринять разные невероятные истории, какие он мог рассказать ей, как пустое бахвальство, — все это удерживало его от рассказов.

— Расскажите что-нибудь о себе. — попросил он.

Она смутилась. Ей уже давно сказали в госпитале, что вот этот бледный, усталый человек, лежащий перед ней, ранен уже в восьмой раз, что он награжден тремя орденами Красного Знамени, что он и есть именно один из тех, которых как раз и называют героями. Но он молчал и ничего не говорил о себе, так что же она могла рассказать ему? Она, простая девушка, только недавно окончившая десятилетку и еще ничего не видавшая в жизни. Ее молчание становилось тягостным, и она, запинаясь, стала рассказывать

ему о том, как в последние годы жила каждое лето у отца в Нухе, в совхозе, как она после работы часто гуляла по вечерам и каталась верхом. Корниенко внимательно слушал, потом вдруг спросил, какая у нее была лошадь. Она рассказала. Тогда он потянулся рукой под подушку и вынул фотографию своего коня.

— Вот посмотрите, — сказал он.

Она посмотрела на фотографию и сделала несколько замечаний, к большому удовольствию Корниенко, свидетельствующих о том, что она, несомненно, знала толк в лошадях. Оживившись, он начал рассказывать о том, как ходил в разведку и как ему достался этот конь. Он редко рассказывал вообще о случаях, происходивших в его фронтовой жизни, — да и некогда было о них рассказывать все эти полтора года. Но, однажды начав говорить, он рассказал все с подробностями, оживленно и весело. Ему очень хотелось, чтобы она представила себе, как все это было и как он под носом у немцев вскочил на этого коня, как удрал от них. Потом, еще раз поглядев на фотографию, он добавил:

— Тут этого не видно, а у коня ведь левое ухо прострелено. Они прострелили, когда я от них тикал. Так насквозь, — как березовый листочек.

Когда девушка уходила, она неожиданно вскинула на него свои большие с мохнатыми ресницами глаза и, встретив его взгляд, поняла, что он

очень хочет, чтобы она пришла еще. Она посмотрела на него неожиданно, и он не успел спрятать это просящее выражение. Девушка сказала, что в следующее воскресенье придет к нему опять.

После ухода Аннуш Корпиченко долго лежал, закрыв глаза, и вспоминал, с каким интересом она слушала рассказанную им историю. Он бы, конечно, мог рассказать ей еще много историй, но, наверное, не выйдет, не придется больше к слову, вот как сегодня. Впрочем, он представил себе, как, выйдя из госпиталя, он пойдет по солнечной улице, она идет рядом с ним, и тогда там, на улице, идя рядом, он, наверное, все-таки сумеет ей рассказать все, что захочет. Тут он с досадой вспомнил об одном обстоятельстве, которое его давно уже огорчало. До сих пор он так и не удостоился получить ни одного из своих трех орденов: два раза привозили в полк для него награды, и оба раза он, снова раненный, оказывался как раз в это время в госпитале. В душе он был самолюбив, знал себе цену, и то, что у него не было этих заслуженных орденов, очень огорчало его, — особенно теперь, когда он представил себе, как он, выписавшись из госпиталя, пойдет с девушкой по Еревану. Вот он будет ей рассказывать историю, конца им не будет, а про ордена вспомнить не посмеет, потому что ведь не станешь же ей показывать удостоверение, в котором написано,

что он патраждён. Ему стало обидно от этой мысли, и он невольно подумал, что хорошо, если бы комиссар полка догадался и прислал кого-нибудь сюда, в госпиталь, с орденами для него. Несколько минут он мечтал о том, как это могло бы быть, как входит в палату Гуляев или, может быть, Загоруйко (лучше Загоруйко, — он хороший парень) и вручает ему ордена. Он попросит, чтобы постирали его гимнастерку, привинтит к ней ордена и перед тем, как девушка придет, положит гимнастерку на тумбочку, рядом с койкой.

Вечером в палату принесли центральные газеты, пришедшие сразу за несколько дней, — целую пачку. Корниенко без посторонней помощи приподнялся на подушках и стал разглядывать газеты, одну за другой. У него еще от слабости рябило в глазах, и он читал только заголовки и смотрел фотографии. В одном из номеров он увидел на фотографии очень знакомое лицо. Приблизив газету к самым глазам, он прочел надпись: «Командир п-ского полка майор А. М. Чуйко, награжденный орденом Ленина». Корниенко долго смотрел на фотографию.

«А. М. ... Александр Михайлович, — подумал он. — Только теперь — майор, и усы отпустил зачем-то».

Он долго, пристально, целых полчаса, с любопытством смотрел на фотографию, так, словно хотел у нее спросить о разных подробностях, о которых она ему никак не могла рассказать.

— Александр Михайлович... Александр Михайлович... — повторял он машинально и снова смотрел на фотографию.

Вид ее всколыхнул в его памяти тьму воспоминаний. В голову лезло все сразу — и действительная служба в учебной батарее, и первые дни войны, Кишинев, Бендеры, Одесса, и то, как он, сам сев за руль полуторки и посадив рядом с собой своего тяжело раненного командира батареи капитана Чуйко, привез его в госпиталь и сдал там на руки врачу, неподвижного, потерявшего сознание. То, что было между ними, нельзя было назвать дружбой: Корниенко преклонялся перед Чуйко, это был для него бог, — человек, за которого он бы не задумываясь, отдал жизнь, человек, который из упрямого, любопытного, неграмотного парня сделал его артиллеристом, заставил почувствовать, что такое настоящая жизнь. Пастух из Ваюнковской станции, грузчик в Керченском порту, шофер-самоучка, Корниенко пришел на действительную, в батарею, таким, каким бы он сейчас, пожалуй, себя и не узнал. У него были только упрямство неграмотного парня, решившего выбиться в люди, волевье здоровье и от природы золотые руки, а остальное дал ему Чуйко. Сам одержимый артиллерист, он, заметив в Корниенко любопытство и приглядчивость, решил его влюбить в пушки так же, как был влюблен сам. Он заставлял Корниенко учиться математике, балли-

стике,— всему, что знал сам, и даже в воскресенье утром, встретив его где-нибудь, кивал ему, как заговорщик, и говорил:

— Пойдем, Корниенко, до пушек.

И они шли «до пушек», и Чуйко, казалось, так же никогда не надоедало объяснять, как Корниенко слушать. Он сделал из Корниенко лучшего артиллериста батареи, и когда тот стрелял на учебных стрельбах, он волновался всегда так, словно вся его судьба и жизнь зависят от того, насколько удачно будет стрелять его ученик.

Потом они вместе попали на фронт, для того чтобы через два месяца под Одессой расстаться, казалось, навсегда. Нет, это не было дружбой,— это было больше, чем дружба. Самолюбивый, уверенный в себе, считавший (и не без оснований), что, куда бы он ни попал, он со своими пушками справится лучше всех, Корниенко в то же время совершенно забывал о самолюбии, когда вспоминал про Чуйко. Все, что у него было, дал ему этот человек. Он был обязан Чуйко и командирским званием, и своим высоким умением артиллериста, и своими орденами, и его во многие, самые трудные минуты жизни не покидало острое желание, чтобы именно Чуйко посмотрел на его работу, чтобы именно Чуйко оценил ее, чтобы именно он сказал ему доброе и горделивое слово.

«Н-ский артиллерийский полк... Где он, этот полк? Где майор Чуйко? Куда ему написать, по-

чему не написали в газете? Чего им стоило: «и-ский артиллерийский полк, такая-то военно-полевая почта». Не написали...»

Он посмотрел еще раз на фотографию, и ему уже не из самолюбия, а из благодарности к Чуйко захотелось, чтобы вот так же была напечатана и его, Корниенко, фотография и чтобы Чуйко, так же, как он сегодня, увидел эту газету и понял, что не подвел его старшина Корниенко, что стал он настоящим артиллеристом.

Ночью в палате горел синий свет. Корниенко не спал. Старые заветные солдатские мысли охватили его. Так было ему в последнее время тяжело от своей раны, да, наверное, и от усталости за эти полтора года, что он уже не думал о возвращении на фронт и о войне. Ему было спокойно, хорошо, и казалось, что можно еще долго так лежать и после выписки из госпиталя ходить по улицам, подставлять лицо под солнце, гулять.

И при воспоминании о Чуйко его мысли вернулись в полк, и он стал озабоченно думать, кто же теперь там командиром батареи, и, ревниво перебирая всех, кто мог бы быть назначен на эту должность, прикидывал, что все равно никто не справится с боевой работой так, как справлялся он. Он соображал, где мог стоять сейчас полк, — если на прежнем месте, то, наверное, батарейцы вырыли уже блиндажи, как он говорил, под горкой, и наблюдательный пункт давно сдела-

ли там, где тогда собирались.— на холме, слева. И, должно быть, сейчас в термосах ужин принесли. А завтра опять бой будет с утра. И он почувствовал, что его там нехватает. А может, думают, что умер он. И если так, то интересно, что говорят про него.

И когда он представил себе все, что может сейчас происходить на батарее, то у него было такое чувство, будто он надолго уехал из дому, и даже если этот дом совсем не там, где был,— перекочевал в другое место, и на других пригорках роют себе норы его артиллеристы, то все равно именно это и было домом, и никуда от этого до конца жизни нельзя было уйти.

Из госпиталя он вышел через полтора месяца. Был воскресный день, ясный и теплый. Снег, выпавший в начале января, давно стаял. По широким сухим тротуарам, наступая на солнечные пятна, прогуливались пары. Встречалось много раненых, на костылях и без костылей, с нашивками на шинелях. Они шли особенно медленно, некоторые потому, что им еще трудно было ходить, другие, должно быть, потому, что не привыкли еще к воздуху, к солнцу, и все, что они делали после госпиталя, они делали особенно неторопливо и с удовольствием. То же чувство испытывал и Корниенко. Он шел по тротуару, прихрамывая на левую ногу, на которой в последнее время опять открылась старая рана, и тяжело

опираясь на палку. Рядом с ним шла Аннуш. Она весело и подробно рассказывала ему про улицы, по которым они шли, про дома и магазины. Он делал вид, что слушает ее, хотя на самом деле слышал не все, целиком поглощенный ощущением воздуха и солнца и тем, что вот он снова может сам передвигаться, идти, куда хочет, по этому южному, сверкающему от солнца городу.

— Коля, да вы меня не слушаете, — вдруг сказала Аннуш.

— Нет, я слушаю, слушаю, — ответил он, лготно взяв за локоть и прижав к себе ее руку.

И она, поверив, что он слушает, опять стала что-то шептать. А он шел и думал, что сделал очень хорошо, назвав себя ей Колей, хотя на самом деле его имя было Карп, — Карп Корниенко. Его давным-давно никто не называл по имени, в армии все его называли или «товарищ Корниенко» или просто «Корниенко», а другой жизни, кроме армии, у него давно уже не было. И когда она спросила, как его зовут, он словно неожиданно вспомнил свое имя «Карп», оно ему показалось каким-то прекрасным, и он вдруг, без раздумья, сказал: «Коля». Теперь он был Коля, и она так ласково и весело выговаривала это его новое имя, что оно ему особенно нравилось. Он почему-то вспомнил газету «Известий» лет десять назад, когда там на последней странице часто печатались такие объявления: «Меняю имя Пикодим на Пи-

колай» или «Фекла — на Татьяна». И он подумал, какими тогда занимались пустяками и как все это, в сущности, было давно.

— А вот, это военный комиссарнат,— сказала Аннуш, когда они проходили мимо одного из зданий.

Он посмотрел на дом. У входа была обычная, как в тысяче других городов, вывеска. Он прикинул в уме, через сколько времени он попадет в этот дом после врачебной комиссии, и подумал, что едва ли раньше, чем через месяц. Он шел по городу, и все встречавшиеся невольно смотрели на него,— на восемь нашивок: три золотых и пять красных, пришитых к его шинели.

Когда Аннуш привела его в домик к своим родителям, он, усевшись на накрытый к обеду стол, где уже собралась семья — старики, сестра и младший брат Аннуш, мальчишка лет тринадцати, — в первую минуту чувствовал себя неловко оттого, с какой предупредительностью, словно к больному, все относились к нему. А мальчишка просто ел его глазами. Зачерпнув ложку супа, он, не донеся ее до рта, остававливался и смотрел на Корниенко так жадно, как будто тот сейчас провалится сквозь землю и он никогда его больше не увидит. Корниенко встретился с одним из таких взглядов. Корниенко вспомнил себя таким же пареньком, неожиданно подмигнул, и оба разом рассмеялись. Напряженность за столом исчезла, и дальше пошел длинный, шумный, бестолковый

обед с тостами, которые Корниенко не всегда понимал, и национальными кушаньями, которых он никогда раньше не пробовал.

Он вернулся в дом для выздоравливающих. Было уже поздно, но никто не спал: некоторые лежали, некоторые сидели на кроватях. К потолку поднимался густой табачный дым. На крайней койке, привалившись к прислоненным к изголовью костылям, сидел одноногий лейтенант и, тихо-поко подыгрывая себе на гармони, пел вполголоса:

Под весенним солнцем развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

Корниенко дошел до своей кровати и лег. «Да, уж, наверное, там оттепель,— подумал он. — Судя по всему, полк наступает уже где-нибудь под Армавиром. Кони, наверное, устали, но пушки все-таки тащат».

Он представил себе, как едет на своей Зорьке впереди батареи, и ему стало жаль одноногого лейтенанта, который не то, что он, Корниенко,— никогда уже больше не вернется в свой полк.

Через месяц на медицинской комиссии его признали инвалидом, освободили влистую и выдали пенсионную книжку. Все это случилось в течение каких-нибудь трех часов, потому что дело казалось врачам ясным, и эти три часа он переходил

из рук в руки, его выстукивали, осматривали, выписывали бумажки. Он опомнился только, когда вышел на улицу, и остановился в недоумении: куда же, собственно, ему теперь идти? В кармане гимнастерки у него лежала пенсионная книжка. Он с удивлением ощупывал карман: она действительно там лежала. «Вчистую». Это слово, которое он когда-то механически повторял, говоря о других, сейчас вдруг стало огромным, страшным и готово было, казалось, его раздавить. Он задумался и попробовал на минуту представить себе, как будет дальше жить. Значит, у него не будет полка, не будет батареи, там будет другой командир, а он уже не увидит никого из тех, с кем воевал. Он уже не будет ехать рядом со своими пушками по грязным весенним дорогам и подгонять лошадей, не будет выбирать наблюдательные пункты, не будет вести огонь, и в термосе не принесут вечером еду, и они не перекурят, и никто уже ему не скажет «товарищ командир», потому что он уже не будет командиром, и никому он не отдаст приказаний, потому что уже никому будет приказывать, и он даже не будет знать, где находится его прежняя батарея, потому что никто ему этого не скажет, он не будет иметь к ней никакого отношения.

Он медленно шел по улице, прихрамывая, опираясь на палку тяжелее, чем обычно. В сущности, он никогда еще не задумывался над тем, что это

может случиться. Он думал, что его могут заставить отдохнуть или отправить куда-нибудь в санаторий, что это может продлиться довольно долго, но вот что так просто, вот сегодня, в течение трех часов, он перестал быть в армии, — этого он раньше никогда себе не представлял. «Это старый кадровик», — обычно говорили про него, когда заходила о нем речь в полку с кем-нибудь незнакомым. И он никогда раньше особенно не вдумывался в это слово. Но сейчас он вдруг сообразил, что никогда он не успевал оглядываться назад, а ведь сзади было уже так много лет — три года действительной, три года сверхсрочной, полтора года войны. Жизнь без армии уже давно незаметно перестала существовать для него. И сейчас он, конечно, трезво рассуждая, очень хорошо представлял себе, как он, освобожденный вчистую, будет где-нибудь работать, хотя бы в этом городе, в каком-нибудь учреждении или за городом, в совхозе, и, может быть, женится, и все пойдет так, как идет в жизни у многих тысяч людей. Он представлял это себе умом, но, когда он хотел хотя бы на минуту почувствовать, какая она будет, эта жизнь, без того, чтобы утром сделать поверку, без того, чтобы заботиться о сотне своих людей, без того, чтобы знать их всех, со всеми их достоинствами и недостатками, со всеми их привычками и слабостями, — он не мог себе этого представить, — это было невозможно.

Когда он остановился, то увидел, что незаметно для себя прошел почти весь город. Он повернулся и поспешно, как только мог, пошел назад. Но когда он дошел до военкомата, был уже вечер, и занятия кончились. Он постоял немного у подъезда, теперь уже не растерянный, а просто недовольный тем, что ему приходится откладывать на завтра то, что решил сделать сегодня.

Уже совсем в темноте он добрался до дома, где жила Аннуш. Там его все ждали, и Аннуш, выбежавшая ему навстречу, спросила:

— Ну, как? Что тебе сказали?

— Ничего, все в порядке, — ответил Корниенко. — Говорят, скоро совсем поправлюсь. Завтра вечером поеду догонять свою часть.

Он видел по ее глазам, что она не верит или по крайней мере не совсем верит, что там, на медицинской комиссии, сказали, что все хорошо. Но она не посмела переспросить его и только молча взяла за руку и привела в комнату, где его встретили ее родители и началась обычная домашняя суета с приготовлением ужина. Он сидел у них весь вечер, половину ночи и по тому, как с ним говорили Аннуш и окружающие, чувствовал, что, куда бы он ни уехал, в этом доме его будут ждать и не представляют себе, что он может сюда не вернуться.

...Командир дивизии полковник Говников сидел над картой в низкой черной халуче. Войдя, он за-

был стащить с себя папаху и сейчас, сдвинув ее на ватылок, грудью павалившись на стол, рассматривал с начальником штаба карту, левой рукой механически размешивая ложкой в стакане воображаемый чай, который уже давно был выпит.

— К вам прибыл лейтенант Корниенко, — приоткрыл дверь, сказал адъютант.

— Корниенко? — переспросил полковник и со звоном опустил ложку в стакан.

— Так точно, товарищ полковник, — сказал Корниенко, входя и оттесняя плечом адъютанта.

— Ей-богу, живой, — сказал полковник, вставая и делая два шага навстречу Корниенко.

В самые тяжелые дни боев для полковника одной из главных радостей были те минуты, когда он узнавал, что тот или другой из его знакомых казаков после ранения возвращался в часть.

— Здравствуй, Корниенко.

— Здравствуйте, товарищ полковник, — сказал Корниенко и в свою очередь сделал два шага навстречу полковнику, стараясь не прихрамывать без палки, которую он оставил за дверью.

— От правильно, — сказал полковник, обращаясь к начальнику штаба. — Правильно. Выздоровел. И направил в часть, в свою же часть.

— Никак нет, — сказал Корниенко, продолжая стоять на вытяжку. — Никак нет, товарищ полковник, не направляли меня в часть. Я без документов прошел, два раза задерживали меня.

— Без документов? — удивленно протянул полковник.

— Так точно, — Корниенко все еще продолжал стоять навтыжку. — Вот мне весь документ дали, — добавил он неожиданно для себя дрогнувшим голосом. — Вот он, документ.

Он положил, почти бросил перед полковником на стол свою пенсионную книжку. Он хотел сказать еще что-то, очень важное, давно приготовленное, но промолчал, потому что почувствовал, первый раз в жизни, как комок подступает ему к горлу.

Полковник перелистал пенсионную книжку, потом перевел взгляд на Корниенко, на его восемь нашивок, на грязную оборванную шилель, в которой он, видимо, добирался сюда то попутными машинами, то пешком по февральской кубанской грязи, и наконец медленно сказал:

— Садись.

Когда через час за Корниенко закрылась дверь, полковник повернулся к начальнице штаба, бывшему свидетелем всего разговора, и сказал, разводя руками, словно оправдываясь в собственной слабохарактерности:

— Что, Федор Иванович, что я могу с ним сделать? Ну, что я могу с ним сделать?

— Ничего, Сергей Ильич, — улыбнулся начальник штаба.

Но полковник продолжал оправдываться:

— Вы понимаете, если человек из Еревана добрался сюда, под Ростов, без машины, без документов, без аттестатов, — разве я могу ему после этого сказать: «Нет, вы не в силах нести службу». Может, и правда, он не в силах нести службу, но не нести эту службу он уже совсем не в силах, — сами видите... О чем вы задумались, Федор Иванович? — спросил полковник у начальника штаба, который, посасывая трубку, молча ходил по комнате.

— Все о том же, — сказал начальник штаба. — Все о том же — о войне. И еще о том, что мы победим. Вот вы тут говорили весь этот час с Корниенко, а я слушал и думал: «Победим, непременно победим».

А Корниенко в это время сжал в свой полк на вездеходе полковника, который тот лично приказал ему дать сегодня. Он сжал, и хотя счастье, что он возвращается к своим, переполюило его душу, но в то же время его не переставали мучить две смутные мысли. Во-первых, ему не нравилось, что полковник сказал: «Съезните пока к себе на батарею, а там мы завтра решим, куда вас назначить, где полетче». Это «завтра решим» не нравилось Корниенко и мучило неизвестностью. Кроме того, хотя ему и было приятно, что полковник дал ему свою машину, в то же время это пугало его. Ведь раньше полковнику никогда не

приходило в голову возить его на своей машине, а сегодня вот он ему дал машину, — дал как инвалиду, как человеку, которому, по мнению полковника, очевидно, трудно даже добраться до своего полка. И эта вторая мысль тоже пугала Корниенко, заставляла его с завистью поглядывать на казаков, трусивших по обочинам дороги на своих низкорослых донских лошадках.

На батарее, уже под вечер, когда Корниенко увидел всех живых и помянул всех мертвых, когда все уже было переговорено и рассказано по три раза, когда он детально осмотрел пушки, из которых две были новые, а две еще старые — его пушки, Корниенко с товарищами уселся наконец, укрываясь от ветра, под стену разбитого сарая и спросил, нет ли закурить. Ему растерянно ответили, что закурить-то есть, но вот уже сутки, как вся бумага вышла, не из чего ни одной цыгарки скрутить.

— Неужели не из чего? — спросил Корниенко.

— Не из чего.

Тогда он полез в карман гимнастерки и достал оттуда сложенную в восемь раз, потертую на сгибах, газетную страничку. Это был старый, прошлогодний номер армейской газеты, где была статья о нем, в которой описывались его подвиги. Он с особенной бережливостью хранил эту газету именно потому, что ему так до сих пор и не выдали ни одного ордена, а в газете корреспондент

очень интересно и подробно описал все, что касалось Корниенко, и даже указал на заслуженные им награды.

Корниенко вынул газету, минуту помолчал, держа ее в руках, потом, оторвав сначала клочок на цыгарку себе, передал газету товарищам.

— Ладно. Все равно уж, — сказал он, не объясняя никому, что это за газета. — Все равно уж завернем из нее. Завернем парадостях.

СЫН АКСИНЫ ИВАНОВНЫ

Поздней весной 1922 года казак Урюпинской станицы Сергей Вершков наконец приехал к себе домой на побывку. За плечами были у него три года гражданской войны и год военного Борисоглебского училища, а всего от роду ему было двадцать. И по молодости лет бесконечное множество вещей радовало в жизни. Ушел он из станицы четыре года назад мальчишкой, а возвращался в нее мужчиной, казаком, чему было достаточное количество внешних доказательств: во-первых, — орден за то, что в одном бою он зарубил одиннадцать беляков под Касторной; во-вторых, — усы, несмотря на молодость лет, почти как у самого Буденного; в-третьих, — красные угластые нашивки на шинели, свидетельствовавшие о том, что был он уже не Сережка, как прежде, а командир взвода товарищ Вершков.

Ранним утром он слез с поезда и шел в свою станицу пешком, не торопясь, как настоящий мужчина, хотя и очень хотелось ему, отбросив

солднность. просто побежать во всю прыть. На углу знакомой улицы, когда он уже увидел вдали зеленую крышу своего дома, ему перегорочили дорогу трое станичников. Все они были очень старые, чуть ли не самые старые в станице — одни даже в какие-то незапамятные времена участвовал в турецкой кампании. Всех их помнил Вершков еще сызмалства, и были они такие старые, что, казалось, уже не могли и переместиться, — какими он знал их пятнадцать лет назад, такими они были и теперь. На груди у них висели георгиевские солдатские кресты, полученные за турецкую, за японскую и за германскую кампании. Но не только кресты удивили Вершкова, — были старики вообще при полном параде, как они редко одевались. Когда он подошел к ним вплотную, старики вдруг стали «смирно», и самый старший из трех старчески, хриплым, но громким голосом сказал:

— Ваше благородие, разрешите поздравить вас с прибытием в родительский дом.

И старик, откозыряв, первым подал руку Вершкову и облобызался с ним. Это была неслыханная честь, и Вершков понял, что теперь он, во-первых, уже признан стариками взрослым казаком и, во-вторых, станичники горды тем, что их земляк стал командиром. Вместе со стариками он важно шел по станичной улице и, свернув цыгарку, солидно смолил ее, засунув в угол рта. И только

уже у самого дома, когда в трех шагах, на крыльце. Он увидел мать, стоящую в своей старой, знакомой, кацавейке, с руками, сложенными под платком, глядящую на дорогу, с него соскочила солидность, и он в припрыжку бросился на крыльцо и прижал ее к своей широкой, соскучившейся по материнской ласке груди.

Прошло двадцать лет. Начинаясь ранняя весна 1942 года. На станицную улицу въехала забрызганная грязью зеленая «эмка» и остановилась у знакомого крыльца. Адьютант выскочил и открыл дверцу. Из «эмки» вылез немолодой коренастый человек в полковничьей шинели. У него были седеющие виски, обветренное темное лицо и глаза, казавшиеся от этого светлоголубыми. Полковник, прихрамывая, чуть волоча раненую ногу, поднялся на крыльцо. Он открыл дверь в сени, потом в горницу и, секунду молча постояв в открытых дверях, тихонько обратился к спевшей к нему спиной за вязальцем женщине:

— Мама.

Женщина обернулась, вскрикнула, схватилась с места и молча припала к его груди. Он долго так и стоял с ней, не раздеваясь, не снимая шапки, глядя рукой ее уже чуть-чуть по-старчески дрожащую голову. Потом наконец, посадив ее на скамейку, он усталым движением скинул шпатель и шапку и сел рядом.

Попав на войну прямо с Дальнего Востока, он

уже лет пять не был в этом доме и сейчас внимательно, с грустью, смотрел на свою, за эти пять лет сильно постаревшую мать. Мать тоже пристально, без слов, глядела на него. Был он не похож на того, каким она знала его раньше. Волосы его были обриты после ранения и отрастали короткой седеющей щетиной. Лицо постарело, осунулось и в то же время как-то окаменело, стало еще тверже и упрямее, чем было всегда. Он вынул папиросу, аккуратно постучал ею о крышку портсигара и закурил. Они долго просидели, молча глядя друг на друга. Потом мать отвернулась и заплакала. Вершков понял, что плачет она о своем маленьком сыне, Михаиле, о котором он напомним ей — своим приездом и который теперь уже никогда не приедет, вот так же, как он, в родительский дом.

Он не стал ничего говорить матери, не стал утешать ее. Он знал, что Михаил был ее любимым сыном и все утешения были бы бесполезны. Он и сам до сих пор никак не мог пережить этой потери, и когда вспоминал о ней, то всегда в глазах его стоял Мишка, младший брат, таким, каким он видел его в последний раз, — исхудавший, загорелый, веселый, в выцветшей от солнца гимнастерке, в болотных сапогах и с прутиком в руке.

— Пробьемся, — говорил Мишка, — пробьемся, товарищ полковник, — и хлопал прутиком по са-

погам с таким видом, словно пробыться ему ничего не стоит.

Глядя на мать, Вершков вспомнил Киев. Он из Киева отступал со своей дивизией последним. Стояла поздняя сентябрьская жара. Было пыльно, душно, и минутами смерть проходила так близко, рядом, что, казалось, не уйти от нее. Переправившись через реку одним из последних, он на берегу принимал рапорты от командиров, порознь переправившихся ночью разными переправами и бродами. Это были самые тяжелые дни за войну, и не все оказались на высоте положения. Одни потеряли материальную часть, другие вышли почти без людей. Вершков, обычно умевший сдерживать себя, в это время потерял все свое умение быть спокойным и, когда что-нибудь приходилось ему не по душе, говорил с людьми резко, жестко, иногда даже грубо. Смерть столько дней была рядом с ним, что он не мог и не хотел понимать людей, которые оправдывали свои упущения по службе или слабость простым, человеческим желанием избавиться от смерти. Начальник особого отдела, раненый, так же, как и Вершков, едва державшийся на ногах, стоял рядом с ним.

— Где люди? — спрашивал Вершков, наступая на командира одного из батальонов — капитана с державшимся от контузии лицом.

— Я лично отбивался до последнего патрона, —

заякаясь, говорил капитан. — У меня вот гимнастерка вся в дырках. Я с боем переплыл.

— А люди где твои? Люди, люди, — упрямо повторял Вершков. — Растерял людей, где люди?

— Не знаю, — сказал капитан и, глядя в бешеные голубые глаза Вершкова, приготовился ко всему, даже к тому, что тот его сейчас ударит.

Но Вершков сдержался, заложил руки за спину, стиснул их и, сделав три шага, уже не поворачиваясь, сказал:

— Трибунал.

Следующим отдавал рапорт командир батареи лейтенант.

— Где люди? — спросил Вершков.

— За исключением убитых, все здесь, — ответил лейтенант спокойно, считая, что этим, очевидно, исчерпывается вопрос.

— А орудия? Орудия где? Здесь или там?

— Орудия там, — сказал лейтенант. — Не могли мы их переправить. Сил не было. Сейчас я вам объясню, товарищ полковник, — сказал он уже менее спокойным тоном, начиная волноваться от взгляда Вершкова.

Вершков отвернулся от него:

— Перетаскать орудия сил не было. Ну, у меня после этого разговаривать с тобой сил нет. В трибунал. Судить.

Окружавшие никогда не видели его таким. Он был подавлен сдачей Кнева и тем, что погибла

половина его дивизии, и тем, что все это до такой степени не соответствовало тому, как он представлял себе эту войну. В эту минуту, перед лицом киевской трагедии, его покинула обычная мягкость и доброта к людям. Он не хотел им ничего прощать — ни трусости, ни робости, ни растерянности, — не хотел прощать так же, как не простил бы себе.

В эту минуту к нему и явился брат. Все в дивизии прекрасно знали командира батареи старшего лейтенанта Вершкова, брата полковника Вершкова. Но они держали себя так, как будто желали, чтобы это оставалось неизвестным, — официально, сухо, сдержанно.

— Товарищ полковник, старший лейтенант Вершков явился, — услышал он голос за своей спиной и, повернувшись, увидел Мишкино лицо, усталое, перемазанное и такое же, как всегда, веселое.

Вершков окинул взглядом брата. Старший лейтенант был в совершенно растерзанном виде. Пилотка у него вообще отсутствовала, гимнастерка была измазана и порвана, прижатые по швам руки — в ссадинах и кровоподтеках. И Вершкова в первый раз за всю жизнь охватило чувство ужаса. Ему показалось, что Мишка, как и те, другие, судя по его виду, наверное, пробрался один вплавь, растерял людей, бросил орудия. Он подумал, что если это так, то никакая человеческая

сила не спасет сейчас брата, потому что он, Вершков, только что отдавший под справедливый и беспощадный военный суд двух командиров, должен то же самое сделать и со своим братом. В те короткие секунды, что он молчал, глядя на Мишку, в его голове промелькнуло все, что должно произойти в ближайшие минуты и часы. Вот сейчас он спросит его, где орудия, и Мишка скажет, что «там», и он отдаст его под суд, и Мишку расстреляют, потому что за это нужно расстрелять, и потом он будет проклятым человеком всю жизнь и никогда не сможет показаться на глаза матери, которой не объяснишь ни за что, почему он не мог поступить иначе, почему он данной ему властью приказал расстрелять своего меньшого брата Мишку, — того самого, которого он когда-то подбрасывал на руках, впервые сажал на лошадь, который был баловнем, любимцем семьи.

— Где ваши люди, товарищ старший лейтенант? — спросил Вершков, взяв себя в руки. И, должно быть, только он да Мишка, который слишком хорошо его знал, заметили, как голос его дрогнул.

— Здесь. В километре левее, — весело ответил Мишка, сверкнув зубами.

— А где ваши орудия?

— Все здесь, — ответил Мишка и улыбнулся. И в улыбке его сияло то, что не сказано было

словами: «Не бойся, не бойся. Не подвел я тебя, не подвел».

Вершков глубоко вздохнул и несколько секунд молчал, не в силах ничего сказать.

— Поезжайте со старшим лейтенантом. Проверьте, — сказал он начальнику особого отдела после паузы. — И возвращайтесь с ним вместе потом.

Те полчаса, что прошли между уходом Мишки и его возвращением, Вершков непрерывно ходил по берегу. Он давал приказания, выслушивал людей, но остановиться не мог, — волнение душило его. Наконец начальник особого отдела и Мишка вернулись.

— Ну? — спросил Вершков.

— Все правильно, — сказал начальник особого отдела. — Батарея целиком переправлена.

— Хорошо, — сказал Вершков. — Зайдите ко мне, товарищ старший лейтенант, — и первым, согнувшись, прошел в низкую дверь рыбацкого домика, где он временно помещался.

И только здесь, без слов, он обнял своего меньшего так, что тот с трудом удержался, чтобы не застонать от боли. Потом, когда Вершков, отпустив его, сел, Мишка тоже сел против него и впервые за три месяца войны, подмигнув, сказал не официальным тоном:

— Что, разволновались, товарищ полковник, а?

— Разволновался, — сказал Вершков. — На,

закуривай. Что бы я матери сказал... — И, не докончив фразы, протянул Мишке папиросы.

А потом были еще переходы, один и другой, — кровавые, страшные, под бомбежкой, среди пыли и смерти. И последний раз он увидел Мишку в небольшом лесочке, откуда они с остатками дивизии должны были прорваться через немцев к своим. Он поставил Мишку на самое страшное место, — в арьергарде, с его легкими пушками, прикрывать отчаянную попытку прорыва. Он обнял брата и три раза, как в детстве, на пасху, крепко поцеловал его своими потрескавшимися от жары губами, потом отпустил его. И вот тогда-то Мишка, похлопывая прутиком по сапогам, сказал, как всегда смеясь одними глазами:

— Ничего. Пробьемся, товарищ полковник. Пробьемся... Разрешите идти.

— Иди.

Больше Вершков, его не видел. Он пробился с остатками дивизии к своим. Тяжело раненного, на плащ-палатке его протащили через лес, и, когда он, очнувшись, спросил, кто пробился и кто погиб, ему сказали, что брат его не пробился. Уже выздоровев, он долго боялся написать об этом матери, потому что ей, казалось, всегда было спокойнее оттого, что ее младший служит под командой старшего, и он, Вершков, чувствовал обязательство перед матерью: может быть, погибнуть самому, но живым вернуть ей младшего сы-

на. А вышло все наоборот: он остался жив, а Мишка...

Вот и сейчас, сидя дома и глядя на плачущую мать, он не мог отделаться от того чувства, что все-таки где-то в глубине души она, наверное, упрекает его в том, что он не спасет брата, и, может быть, по правде сказать, она была бы больше рада, если бы вернулся не он, а брат, потому что — обычная женская слабость — любовь к последнему, позднему сыну была у нее сильнее, чем любовь к нему, Вершкову.

Когда мать не то чтобы успокоилась, а просто вытерла слезы и сразу стала такой, как всегда, Вершков, пока она собирала на стол, стал спрашивать ее о том, кто из знакомых уважаемых стариков остался сейчас в станции и на окрестных хуторах: Мать, по всегдашней своей молчаливости, не стала спрашивать, зачем ему это нужно, и весь вечер рассказывала ему, кто умер, кто жив, кто переехал, кто как живет из старых казаков, у кого и когда пошли в армию сыновья. Сын слушал ее внимательно, переспрашивал, иногда записывал в книжечку ту или другую фамилию. А утром его адъютант сел в машину и поехал по станции и по хуторам по крайней мере по двадцати адресам с приказанием кланяться и просить таких-то и таких-то стариков прийти или приехать вечером в гости, в дом к их stationнику, полковнику Сергею Иваловичу Вершкову.

Вечером на дворе у Вершкова было шумно: топтались привязанные к воротам кони, и хозяин, стоя на крыльце, без шапки, с низким поклоном, с почтением встречал гостей. Сошлось к нему в тот вечер человек пятнадцать — почти все, кроме тех, кто в эту пору оказался хворым. После взаимных приветствований Вершков, как и полагалось, начал разговор не сразу, а сперва усадил всех за стол, и все выпили по одной, а потом и по второй, и по третьей. Мать, обнося гостей кушаньем, все время горделиво посматривала на сына, и то, что все старики пришли к ним, было для нее большим свидетельством почетного сыновнего положения, чем все его ордена и высокие чины.

Когда выпили по третьей, Вершков встал, подчеркивая значительность того, что ему предстоит сообщить старикам, и, откашлявшись, сказал, что прислан сюда формировать новую казачью дивизию из добровольцев, что выбрали его для этого дела потому, что он сам казак, что командовать дивизией, когда она сформируется, будет он, Вершков, и что, зная казачий порядок, созвал он старых людей для того, чтобы помогли они ему и вместе с ним положили почин этому делу.

Прежде чем ответить, старики помолчали, покашливали, подумали. Дело было серьезное, и хотя, с одной стороны, они были польщены тем, что не кто-нибудь, а казачий полковник обращается

к ним за советом, а с другой стороны, обращался к ним за советом Сережка Вершков, которого они знали, когда он еще под столом ползал, поэтому, в сущности, так оно и должно было быть: правильно, по-казацки поступил он, обратясь за советом к старшим. Самый старый из собравшихся — Трофим Ильич Ерохин, давний вояка, известный по всей округе любитель поговорить, вышить и поозорничать, встал первым. На этот раз не было на его лице того обычного выражения готовности отмочить очередную шутку, зная которое окружающие всегда уже заранее начинали улыбаться. Ерохин встал, солидно погладил свою, вопреки всем законам природы, еще не начинавшую се- деть бороду и сказал:

— Мы тебе поможем и сами, кто в силах, пойдем. Я сам пойду. Только ты сделай, чтобы доктора с ихними трубками над нами не мудрости с ихними комиссиями да осмотрами, в инвалиды нас не записывали, дела не портили. Вот и вся наша просьба. А что помочь, — так это мы поможем.

Ерохин сел, считая разговор истерпанным. Другие старики были тоже немногословными: и оттого, что дело было ясное, решенное, — что же тут было долго говорить, — и еще оттого, что на столе не перевелись ни закуска, ни выпивка. Им не терпелось еще раз-другой помочить усы в водке, раз уж выпал такой случай.

Вершков, крепкий, в отца и в деда, пил, не пьянея, и с любопытством наблюдал за стариками.

Удивительное это было племя, никак не желавшее стареть. Не годы, а десятилетия требовались для того, чтобы в их черные бороны вплелись седые пряди, для того, чтобы прибавить к одному сетому волосу следующий. Вид стариков наполнял Верпкова воспоминаниями о детстве и юности. Ему, несмотря на то, что он уже давно привык командовать, привык быть начальником, сейчас невольно казалось странным, что вот он сидит за столом наравне со стариками. Впрочем, теперь они его почитали равным себе, потому что он тоже, как они, старый вояка. Он вспоминал, как во времена его юности молодой казак не считался казаком до тех пор, пока он не вернется с действительной службы: только став солдатом, начинал он считаться за взрослого человека. И была в этом большая казачья правда: суровость воспитания, глубокое убеждение в том, что сначала будь ты солдатом, а потом уже кем хочешь, и ежели ты солдатскую школу не прошел, то еще не совсем ты и человек. И если молодой казак еще до действительной, случалось, выпивал, то по приговору стариков могли его и выпороть, справедливо считая, что сперва ты послужил, а потом уже можешь себе позволить погулять, если есть на что. Исключение делалось только в одном случае, когда на Троицу и на Покров устраивались состязания — конные, пешие — всякие, и кто побеждал, с тем старик в этот день здоровались

первыми и вечером приглашали за стол и пили с ним, несмотря даже на его зеленую юность. Вершков вспомнил, как однажды на его долю выпала такая честь и с каким волнением он сидел тогда за столом со стариками.

И хотя с тех пор прошло бог знает сколько времени, отголоски этого волнения жили в нем еще и сейчас. Его волновал вид стариков, молодые глаза их, широкие ссутуленные годами, но сильные плечи, большие узловатые руки. Вся сила народная, казалось, стояла за их спиной. И он подумал, что и правда хорошо, если у него в дивизии будет побольше стариков, и нужно будет их при формировании уберечь от вмешательства чоптовых докторских трубок.

В ближайшие же недели по станицам пошел разговор, что приехал в Урюпинскую полковник — собирать казачью дивизию из добровольцев, и полковник тот сам из казаков, здешний, и что многие даже его знают и припоминают.

— Да кто же он?

— Да Сережка Вершков, с Урюпинской.

— Какой это Вершков?

— Да сын Аксины Ивановны.

И тот, кто не помнил Сережку Вершкова, тот вспоминал Аксиныю Ивановну или его отца Ивана Семеновича Вершкова. — человека известного, зарубленного белыми в 1920 году. И то, что приехал знакомый станичник, и что полковником он

стал, и что не кто другой, а именно он, сын Амсиньи Ивановны, собирает тут дивизию, как-то радовало сердца и порождало у людей, немолодых и давно отвыкших от войны, желание тряхнуть стариной и постоять за казачью честь.

Дивизия Вершкова в первые бои вступила на Кубани. Немцы взяли Ростов и Новороссийск и теперь шли к Ставрополю, к Армавиру, к Краснодару. Стоял пыльный кубанский август. Желтые колесящиеся поля с наполовину несобравным урожаем, сады с ветвями, ломившимися от тяжести яблок, бахчи, полные кавунов, — на все это нестерпимо было глядеть, и в эту пору урожая, плодородия особенно, до боли сердца, тяжело было уходить с этой земли.

Была жара, безводье. Белая пыль курилась на дорогах, вылетая из-под копыт лошадей. Стояли длинные дни, и четырех-пяти часов темного времени между бомбежками, начинавшимися с рассвета и кончавшимися на закате, на сон нехватало. За все время пришлось только два раза атаковать немцев в конном строю — один раз ночью, зайдя с тыла, другой раз утром, на рассвете, когда их пехота неосторожно переправилась через Кубань, не успев перетянуть за собой ни пушек, ни танков. Каждый день приходилось драться в спешном строю, и, казалось, было тяжелее всего коноводам, которые в двух-трех километрах от боя живой мишенью для самолетов топтались

в голой степи с конями, не воюя и в то же время погибая не реже, чем те, которые воевали.

И все-таки, даже в этих условиях, когда немецкие самолеты и танки многое сводили на-нет, Вершков не разочаровался в достоинствах своей конницы. Недаром же они всегда были в арьергарде, недаром они всегда оставались последними, давая возможность другим частям оторваться от немцев, и дрались с рассвета до заката как пехота, а ночью, заседав лошадей, отрывались сами и утром на неожиданном для немцев месте снова принимали бой. Дрались под Кущевской, под Тихорецкой, под Малороссийской. Вечером тихо, без песен, проезжали через станицы. В дивизии, кроме донцов, было много кубанцев, и то в одной, то в другой станице казак останавливал коня у какого-нибудь дома и, наклонившись с седла, молча обнимал беззвучно плакавшую женщину. Но ни один не остался, проходя через родную станицу. В эти дни Вершков заметил в людях какое-то неслыханное озлобление против немцев, появившееся в них не сразу, а только теперь, по второму году войны. Попрежнему им было жаль дома свои и семья, но жалость эта теперь была всегда слабее желания драться. И прощались они с домами и семьями, не задумываясь, не предполагая даже для себя иного возможного выхода. Главным для них было сохранить оружие в руках и душу в теле, чтобы воевать дальше.

Поредевшие в первых же боях полки в эти дни пополнились, когда они проезжали через станицы, многими сотнями добровольцев. Часто к отцам присоединялись дети и к детям — отцы. И в эскадрон, где командовал сын, простыми казаками шли служить отец и дядя — не считали это себе за обиду. Было много просьб от родичей и земляков — соединить их в одном эскадроне или в одном взводе, и Вершков поставил себе за правило никогда не отказывать в таких просьбах, потому что по себе знал, какая это взаимная порука, когда рядом с тобой воюют родичи и земляки.

Под Кущевской убили в бою командира третьего эскадрона Петра Мордвищева. Вечером, когда нашли его мертвым на поле боя, отец его Михаил Семенович, служивший пулеметчиком в том же эскадроне, долго стоял над телом сына и, когда собрались зарывать тело, сказал:

— Не надо. Сам похороню. — Он поднял тело сына на свои могучие плечи и, согнувшись, понес.

Вершков не возражал, но на всякий случай, чтобы чего-нибудь не случилось худого, велел следить за стариком. Старик Мордвищев прошел краем станицы, дошел до фруктового сада, спускавшегося по косогору к оврагу, и там под большой яблоней положил тело сына на землю. Потом сел рядом с ним, не торопясь, твердыми недрогнувшими пальцами свернул цыгарку, закурил

ее, выкурил до конца и, бросив на землю, старательно притоптал сапогом. Потом, вынув из чехла свою саперскую лопатку, начал рыть могилу. Рыл он, не торопясь, аккуратно, глубокую, настоящую могилу, не так, как это наспех бывает у солдат, а старательно, по-отечески. Закопав сына, старик Мордвищев сделал на яблоне крест-накрест три зарубки, положил лопату в чехол и, перекрестившись три раза, пошел обратно к себе в эскадрон. Он не плакал, не жаловался и даже не говорил ни с кем о сыне. Но утром, когда под станицей предвиделся бой и в эскадроне назначали коноводов, чтобы отвести лошадей подалее, к леску, проезжавший через расположение третьего эскадрона Вершков встретил Мордвищеву.

— Товарищ полковник, — сказал Мордвищев сумрачно.

— Что?

— Опять меня в коноводы назначают. Скажите, чтобы не назначали. Не могу я в коноводах быть.

— Почему? — спросил Вершков.

— Потому что сына у меня немец убил вчера. Не могу я в коноводах быть. Я теперь воевать за все семейство должен. Скажи, товарищ полковник, чтобы не назначали, а то брошу коней, сам уйду.

И было в лице его, в глазах такое ожесточе-

ние, что Вершков, не допускавший вообще самовольства, сразу простил ему слова «а то сам уйду» и приказал, чтобы Мордвинцева больше не назначали в коноводы.

То же ожесточение, которое Вершков наблюдал в своих людях, он чувствовал в себе самом. Иногда, отчитывая своих командиров за напрасный риск в бою, он чувствовал, что говорит с ними неубедительно, без горячности, кривя душой. Он знал, что так нужно говорить им, но говорить ему не хотелось, потому что чувство жалости к себе и боязни за свою жизнь исчезло у него самого в этот месяц, и он очень хорошо понимал, как оно может исчезнуть и у других.

Между Кропоткином и Краснодаром дивизия, казалось, уже совсем попала в мешок. Нужно было целиком или по крайней мере наполовину пожертвовать одним полком, чтобы спасти остальные, какие были до и после него. У немцев было не так уж много пехоты, но семьдесят танков, быстро прорвавшихся через заграждения, много часов подряд колесили вдоль и поперек позиций полка. Некоторые из них сожгли, другие подбили, но к четырем-пяти часам дня были уже раздавлены все до одной пушки, почти все противотанковые ружья, были истрачены почти все гранаты и танки взад-вперед проволочивались над окопами, разворачивались, стараясь гусеницами раздавить все, что было под ними.

Командир полка еще утром был убит рядом с Вершковым, и Вершков, который, приезжая, обычно не вмешивался в мелочах в деятельность своих подчиненных, на этот раз, хотя и назначил нового командира полка, но в сущности принял команду на себя. Делал он все, что можно было сделать в таковой день. Пока приходили посыльные и командиры, он говорил с ними, отдавал приказания и имел тот спокойный вид, который был им, пожалуй, дороже его приказаний. Пока не были порваны все телефонные провода, он говорил, подбадривая людей по телефонам. Когда же все это оборвалось и расположение полка, начиная от выставленного с ночи боевого охранения и кончая командным пунктом, превратилось в одно чистое поле, по которому с ревом ползли немецкие танки, Вершков приготовился сделать то последнее, что можно было сделать в таких обстоятельствах, — умереть, использовав обычно не представлявшееся ему, как командиру дивизии, право личного боя с немцами. Он застегнул воротник, засунул себе за пояс две гранаты, столько же, сколько было у всех остальных, и вышел из командирского блиндажика на открытое место, в окопчик. Никто из окружавших не возражал, потому что надежды оставалось мало и всем было понятно желание командира дивизии умереть тоже по-солдатски, в бою, а не просто так погибнуть.

По той случайности, какая каждый день бывает на войне, танки прошли слева и справа от их окопов, и они не погибли. Вечером Вершков вывел остатки полка с поля боя. Они обходным путем пошли на Майкоп, догоняя остальные, далеко ушедшие полки. За Майкопом начался уже настоящий Кавказ — ущелья, горы, осенние, почти непроходимые, перевалы. Нечем было кормить лошадей. Сначала рубили кое-где попадавшийся мелкий орешник, а потом для того, чтобы лошади не пали, пришлось валить толстый строевой лес, где только на самых верхушках было немного жесткой, опаленной солнцем, листвы. Четыре последних дня вовсе нечего было есть. Екли каштаны, но их было мало. В последние недели потеряли много лошадей, и половина казаков шла пешком. Вершков тоже большую часть пути шел пешком, отдав своего коня ординарцу. На поле боя он привык видеть смерть, и, когда умирали его люди, он принимал это спокойно, потому что иначе не могло быть. Но после боя, во время многодневного перехода, он почти физически страдал, видя, как поредели его эскадроны, — слишком уж многих знал он в лицо, по имени-отчеству, по фамилии, знал, из каких они станиц, впал их братьев, отцов, дядьев, и оттого потери были особенно очевидны. На него напало молчание. В дивизии уже давно был заведен строгий порядок: на марше особых вопросов к нему, ко-

мандиру дивизии, не было, и он мог молчать столько, сколько ему хотелось. Он шел, вспоминая формирование дивизии, проводы на фронт, и думал, что немногие из тех, которые ушли с ним, вернутся в свои станции.

По нескольку раз в сутки к Вершкову, пошептавшись с товарищами, подъезжал то один, то другой старый казак:

— Вы, наверное, кушать хотите, товарищ полковник?

— А что у тебя есть?

— А сухари.

— А ведь брешешь,— говорил Вершков, взглянув на казака и невольно улыбнувшись.

— Никак нет,— говорил казак.— Вот они,— и вытаскивал из переметных сум береженный уже, наверное, три дня замусоленный кусок сухаря.

— Да ты сам не ел,— говорил Вершков.

— Только что ел, товарищ полковник.

— Врешь.

— Ей-богу, ел.

— Да чего же ты ел?

— Да опять же сухари. Вот этот остался, не хочется больше.

И казак ехал рядом с ним до тех пор, пока он не соглашался погрызть сухарь.

Поздней осенью дивизию перебросили в пески, под Моздок. Кругом громоздились песчаные горбыли или, как их называли казаки, буруны. Снегу

было мало, и потому казалось особенно холодно. Здесь дивизия держала твердую оборону, и тут все почувствовали, как что-то совершилось. Немцы выдохлись и не могли уже идти дальше. По-прежнему они атаквали, по-прежнему то здесь, то там прорывались их танки, и в то же время было уже что-то не так, как раньше: пройти вперед они уже не могли.

Пользуясь неподвижным положением фронта, Вершков взял себе за правило время от времени, раз в несколько дней, собирать у себя вечером по несколько человек из полков, — тех, кто особо отличился в эти дни. Он выставлял им ужины и двойную порцию водки, чтобы было чем согреться, и потом исподволь начинал разговор о том, что они сделали и как это у них получилось. Казаки, поначалу обычно сдержанные, потом всегда успевали разговориться. Они сетовали на отсутствие лопат, на плохой корм для лошадей, говорили о том, что хорошо бы побеспокоить ночью немцев, и предлагали разные варианты этого. А Вершков обычно, выслушав, тут же в разговоре паталкивал их на разные мысли, которые считал важными. Он советовал им то одну, то другую мелочь, за которой командирский глаз не всегда мог уследить и которая между тем в интересах самого солдата.

Постепенно, за месяц, сиденья в песках, эти ужины у Вершкова стали традицией, и казаки

специально вызывались охотниками на разные дела — хотели отличиться, чтобы понасть на такой ужин.

Праздник 7 ноября встречали здесь же, в пещках. Наступление еще не начиналось, но уже чувствовалось в воздухе. Стояло затишье, которое, по всем приметам, вот-вот должно было разрываться неожиданным и громким ударом. Верников решил отпраздновать двадцать пятую годовщину ночью.

Между двух песчаных бугров разостлали широкие, снятые с «дождей» брезенты и поставили на них накопленную за последние дни для этого случая свою гвардейскую норму водки и все, что нашлось съестного, подходящего для праздничной закуски. По обеим сторонам брезентов Верников приказал поставить две машины и засветить фары. Четырьмя большими желтыми пятнами лег свет фар на брезенты и на тесно усевшийся круг казаков. Были тут все, кого удалось собрать, не портя дела, — командиры полков, эскадронов и старые бородатые казаки-добровольцы, старейшины своих частей. За пять-шесть километров к северу, на переднем крае, шла обычная перестрелка, светились в темном небе ракеты.

Никто из собравшихся никогда еще не встречал так праздник. В кружки с водкой падал снег, и время от времени кто-нибудь, чтобы не замерзнуть, хлопал в ладоши или вскакивал, стуча за-

немевшими ногами. Но от этого было не менее весело, но менее торжественно. Сперва выпили за праздник, за победу, потом за навших товарищей, а потом, как это водится в короткие минуты солдатского отдыха, разговор зашел о том, о другом, о переходах, о ночевках, о родных донских и кубанских станциях, и казалось, не будет этому разговору конца, потому что было что вспомнить и кого помянуть, а на морозе водка, как говорят, не берет, а только веселит душу.

Когда все разъехались обратно по своим местам, Вершков долго еще, скрипя сапогами по свежеразвалившему снежку, ходил возле своего блиндажа. Фары у машин погасили. Двое казаков скачивали брезент. Вершков думал о том, сколько непрочных солдатских домов было построено на его глазах за войну, сколько они обживали и бросали блиндажей, сколько было ночевок и переходов и сколько еще будет, и, как ни странно, это чувство не рождало у него ни тоски, ни грусти, а, напротив, было какое-то веселье на душе от того, что многое меняется, меняются места, города, позиции, а дивизия все идет, и далеко не те люди в ней, с какими начал он воевать, но она идет и остается дивизией, и он доведет ее до конца пути, как что-то свое, что приросло к его телу и к душе и с чем невозможно расстаться. В эту минуту, хотя был он и горд и честолюбив, ему не хотелось повышения по службе, — хоте-

лось до конца командовать все этой же самой, своей, дивизией.

Я встретился с Вершковым в конце февраля во время боев между Ростовом и Таганрогом. Его предчувствия в ту зимнюю ноябрьскую ночь оправдались, и дивизия прошла обратно весь тот путь, по которому она когда-то отступала, переправилась через Дон и сейчас воевала уже за Доном на границах Украины. Только что вернувшийся из полка Вершков сидел за столом, уже раздевшись, но, как обычно, забыв скинуть с головы панаму. Был тот час военного дня, когда приказ о сегодняшнем наступлении уже отдан, а первые сведения еще не поступили, и в штабе на короткое время воцаряется редкая выжидательная тишина, во время которой можно отвлечься своим мыслям и подумать о чем-то другом, кроме насущных забот дня. Вершков был задумчив и, откинувшись на спинку стула, рассеянно барабанил пальцами по столу.

— О чем вы задумались? — спросили его.

— Как вам сказать? Обо всем сразу. Я вспомнил, как недавно, когда мы взяли обратно Кущевку и сделали там привал, я вечером зашел в сад, где когда-то отец похоронил командира эскадрона Мордвинцева. Помните, я вам рассказывал? Мы вернулись в Кущевку, но старика Мордвинцева не было с нами, он был ранен еще под Тихорецкой и отправлен в лазарет. Я пошел вме-

сто него в сад и пошел к дереву с тремя зарубками и постоял над могилой его сына. И показалось мне в ту минуту, что и вправду я словно отец им всем, живым и мертвым. И вот мне кажется сейчас, когда я думаю о своей дивизии, что хоть поредели ее полки, но она очень большая, — больше, чем та, которая вступила когда-то в первый бой. Она состоит сейчас из живых и из мертвых, из тех, что дрались, и из тех, что дерутся в ее рядах. И сильна она не только силой живых, но и силой мертвых, — силой их геройства, силой их смерти за родину. Когда идешь обратно по земле, в которой лежат наши мертвецы, когда их могилы остаются за нашей линией, это укрепляет душу, заставляет твердо стоять. Как по-вашему?

И, не ожидая ответа, он снова задумался. Потом вдруг улыбнулся:

— Я от матери недавно получил письмо, которое благодаря моему легкомыслию испортило мне много крови. У нее был на побывке кто-то из нашей дивизии — так я и не мог высчитать, кто был этот болтун — и паябедничал на меня. Так она мне написала: «Сережка, до меня дошли слухи, что ты хоть и большой начальник, а иногда лезешь, куда не полагается. Так имей в виду, я это тебе категорически запрещаю...»

Ну, вот получил я это письмо, показал начальнику штаба. Посмеялись. А он, наверно, коман-

дирам полков рассказал. Так я теперь приезжаю в полк, хочу в эскадрон идти, а командир полка не пускает. Я говорю: «Какое ты имеешь право меня не пускать?» А он отвечает: «Полное право имею, товарищ полковник, потому что вам это даже мамаша запретила».

А вы же знаете, у нас, у казаков, родительский-то приказ издавна почитать принято! Так вот и не пускают меня в эскадрон.

Вершков снова улыбнулся, и за этой улыбкой я почувствовал, как хочется ему сейчас хоть на минуту перенестись в свою станицу, где сидит вот за таким же деревянным деревенским столом его мать, Аксинья Ивановна.

Южный фронт.

ЗРЕЛОСТЬ

Стоял первый по-настоящему теплый день. Долго державшийся снег вдруг сразу начал таять, и по крутой деревенской улице текли быстрые черные ручьи. Последнее, что заметил полковник Проценко, входя в хату, были красноармейцы, с трудом пересекавшие улицу в хлюпающих, мокрых валенках.

Проценко вошел в избу, устало опустился на скамейку, ожидая, пока фельдшер Вася приготовит ему постель. Полковника бросало то в жар, то в холод, — ангина, которую он таскал за собою последние недели, сегодня, кажется, готова была окончательно свалить его. Он приложил руку ко лбу: голова горела. Пошатываясь, он дошел до кровати. Вася стащил с него сапоги и стал рыться в своей полевой сумке, отыскивая лекарство.

— Подожди, — сказал Проценко. — Сейчас приду. Позови ко мне Гвоздева.

Фельдшер Вася, хорошо знавший по интонаци-

ям голоса полковника, когда начиналась и кончалась его медицинская власть над полковником, послушно закрыл сумку и выбежал за красноармейцем, чтобы позвать Гвоздева.

Когда заместитель командира дивизии по хозяйственной части майор Гвоздев вошел, Проценко, казалось, уже лежал в забытьи. Плотнo закрыв глаза. Но он открыл их мгновенно, услышав, как Гвоздев шелкнул каблуками, и внимательным долгим взглядом уперся в его сапоги. Гвоздев, отрапортовав, тоже посмотрел на свои сапоги, недоумевая, что могло вызвать внимание полковника. Сапоги были в порядке. Продолжая глядеть на них, а не на Гвоздева, Проценко сказал, не повышая голоса и обращаясь к Гвоздеву на «вы», причем и то и другое, насколько Гвоздев знал, не предвещало ничего хорошего:

— Прибыли грузовики с сапогами?

— Никак нет, — сказал Гвоздев. — Засели в грязи у Курмоярской, послезавтра будут.

— А в чем ходят бойцы, — вам известно? — спросил Проценко.

— Так точно. В валенках, — сказал Гвоздев. — Послезавтра доставим сапоги.

— Если завтра не доставите, — сказал Проценко, — то послезавтра и вы и вся ваша хозяйственная часть наденете валенки. А если послезавтра не доставите... — Проценко в первый раз посмотрел в лицо Гвоздеву, и тот, не выдержав его

взгляда, невольно опустил глаза. — Что, недавно подметки подбились новые у себя в хозчасти?

— Так точно, — сказал Гвоздев, краснея.

— Хорошо подбились, — заметил Проценко. — Можете идти.

Гвоздев вышел. Проценко снова закрыл глаза, безучастно проглотил какие-то таблетки, которые поднес ему фельдшер Вася, и продолжал лежать неподвижно, так, что только по его прерывистому дыханию можно было угадать, что он не спит. Стиснув зубы, он с раздражением думал о том, что люди, прошедшие за эти два месяца шесть-сот верст, сейчас идут в мокрых валенках и им нигде ни обогреться, ни обсухнуть. Это была одна из издержек наступления, в которых, когда начинаешь разбираться, оказывается, что никто не виноват, но которые в то же время нетерпимы. Наступали так, что не поспевали обозы, не поспевали кухни, — по два, по три дня почти ничего не ели, давно уже отвыкли греться водкой. И теперь еще эта оттепель... Он хорошо представлял себе, как у горы возле Курмоярской бужуют машины и как нет человеческих сил их вытащить, и в то же время он знал, что Гвоздев обязан придумать для этого что-то сверхчеловеческое, потому что иначе нельзя, и еще потому, что все это наступление вообще было сверхчеловеческим напряжением сил, и если на это были способны бойцы, то на это должен был быть способен и

Гвоздев. Тут он подумал о себе и попробовал осудить себя за то, что вот он слег сейчас, вместо того чтобы ехать в полки. Но нет, он в самом деле не мог ехать: полчаса назад, когда он разговаривал со своим заместителем полковником Шеповаловым, то чуть не упал и удержался, только схватившись за стекло своего «Виллиса». Он должен пролежать сутки, иначе он просто-напросто подохнет. Вдобавок, вдруг подумал он, плохая была бы у него дивизия и плохой был бы он командир, если бы он не мог оставить свое хозяйство на одни сутки. Год назад он, пожалуй, не мог бы оставить хозяйство на сутки, а сейчас может. Он отдал все приказания, и полковник Шеповалов в конце концов толковый военный, и командиры полков тоже хорошие командиры, и он во всех подробностях предусмотрел, как они должны будут действовать в течение этих суток, чтобы завтра взять город.

Фельдшер Вася, осторожно поддерживая его голову, сделал ему компресс на горло и приподнял его повыше на подушках.

— Еще выше, — спросил Проценко.

Вася поднял его еще выше.

— Разверни карту, — сказал Проценко.

Вася развернул карту и стал держать ее на весу перед его глазами. Синие и красные стрелы и полужуржия прыгали из карты, и Проценко, которому казалось, что карта дрожит у Васи в руках, сказал:

— Держи как следует.

Но стрелки и полукружия продолжали прыгать, и тут Проценко понял, что это у него от жара и болезни рябит в глазах. Он несколько раз открывал и закрывал глаза, двигал на подушке головой и наконец нашел такое положение, при котором карта больше не прыгала. Все было правильно: он тянул свою дивизию левее города на проселочные дороги и, как обычно обходя немцев, хотел сбить их с высот и выскочить к утру сразу не на восточные, а на западные окраины города. Сейчас, судя по времени, полки уже должны были начать атаку высот, и частые минные разрывы, казалось, подтверждали это.

Время уже клонилось к вечеру.

— Какой час? — спросил Проценко у Васи. Он часто спрашивал у Васи, сколько времени, чтобы доставить ему удовольствие посмотреть на его большие красивые трофейные часы. Но на этот раз он спросил просто потому, что не было сил поднять глаза на руку с часами.

— Пять, — сказал Вася, стоя неподвижно у спинки кровати, грустно и упорно глядя на полковника.

«Первое донесение от Щедвалова должно быть в семь», — подумал Проценко, и почему-то ему, как в детстве, от нетерпения захотелось считать эти два часа по минутам: один, два, три, четыре, пять и так до шестидесяти, — одна мину-

та, и потом снова: раз, два, три, четыре, пять — и опять до шестидесяти. Он начал считать, но цифры у него сразу перепутались и замелькали перед глазами.

Он открыл глаза только через полчаса, не вполне ясно сознавая, заснул ли он или потерял сознание. Вася стоял все в той же позе у спинки кровати и глядел на него. В глазах его было выражение беспокойной готовности сделать все, что понадобится полковнику. Он стоял большой, долговязый, и тяжелые его руки беспомощно лежали на спинке кровати. Он сделал все, что мог, — накормил Проценко всеми пилюлями, сделал ему компресс, — и теперь мучился от сознания того, что не в силах сделать ничего больше, что он беспомощен перед лицом болезни, терзавшей полковника. Но он исполнял при полковнике и обязанности адъютанта. Это началось с тех пор, как прошлым летом он переплыл из окружения через Дон, таща на себе тяжело раненного Проценко. Полковник вывел из окружения его и многих других людей, и уже на пороге свободы, на самом берегу Дона, когда Проценко был ранен, Вася рискнул жизнью для того, чтобы спасти полковника. С тех пор он и остался при полковнике, не разлучался с ним никогда, всюду ходил за ним с автоматом, оберегал его от опасностей, действительных и мнимых, и в то же время в глубине души безгранично верил, что рядом с Проценко

он и сам не пропадет, и, что бы ни вышло. Проценко выведет и спасет и дивизию и лично его. Васю. В таких людях, как Вася, знавших его давно, еще с прошлого года, и веривших в него безгранично. Проценко в самые тяжелые минуты черпал уверенность. Вера их в него была заслуженной, но в то же время именно эта вера, подчас заставляла его решаться на рискованные и смелые шаги, убеждала его в том, что он, которому эти люди так верят, в свою очередь не ошибется и будет прав в своем риске.

Сейчас Вася стоял перед его кроватью, и были в его привычной фигуре спокойствие и постоянство. «Сколько же в самом деле вместе прошли и перетерпели», — невольно подумал Проценко. И этот день пройдет, и его перетерпят, и начнется завтра, а потом послезавтра — и так до конца войны. И, что бы ни было, оба они останутся живы, — и он, и вот этот стоящий перед ним сейчас Вася.

— А пить не хотите? — спросил Вася.

— Нет, — сказал Проценко и слова закрыл глаза. — Разбуди, когда придет донесение.

Но вместо донесения через пятнадцать минут его разбудил вбегавший в комнату командир учебного батальона капитан Маркушев. Был он в сбитой набок шапке, в расстегнутом полушубке, из карманов которого торчали гранаты.

— Товарищ полковник. — сказал Маркушев, еще

задыхаясь от бега. — Товарищ полковник, там машина готова, отъезжайте пока. Танки немецкие прорвались. К деревне подходят. К штабу.

— Опять, как в Калининкове? — брезгливо спросил полковник, в упор посмотрев на Маркушева.

Калининково — это была единственная деревня на всем пути наступления, которую месяц назад отдали немцам обратно после неожиданной атаки их танков. Деревню взяли опять с большими потерями только на следующий день, а название ее стало в дивизии словом нарицательным, — напоминанием о большой неудаче. Маркушев тогда тоже в числе других сплеховал и отступил из деревни, и теперь слова полковника о Калининкове были для него особенно обидны.

— Нет, товарищ полковник, — сказал Маркушев. — Не как в Калининкове. — Мы не уйдем. Мы хоть и на эту улицу допустим, а все равно пожжем, пожжем их всех. Но только вы, пожалуйста, садитесь в машину, хоть на хуторок отъезжайте. Они, часом, сюда ворваться могут.

— А вы их не пускайте, — сказал Проценко, — вот мне и ехать никуда не нужно будет. Болен я, никуда я не поеду! А теперь, как хотите: хотите — пускайте их, хотите — нет. — И Проценко повернулся на бок, лицом к стене, выразив одним этим движением сразу и то, что никуда он от-

сюда не поедет, и то, что разговор его с Маркушевым окончел.

Маркушев знал по опыту, что если полковник замолчал, то пробовать продолжать разговор с ним бесполезно. Он потоптался еще несколько секунд в комнате, потом вышел размашистым шагом человека, принявшего решение, твердо и бесповоротное.

Как только Маркушев вышел, Проценко опять повернулся и лег на спину. Так лежать ему было легче. Он поворачивался на бок единственно с той целью, чтобы показать капитану, что ничего особенного не произошло и что, если талки подошли к деревне, это еще не причина для того, чтобы ему выезжать из нее, а капитану прибегать в расхлябанном полушубке с карманами, доверху набитыми гранатами. Если бы Проценко попробовал себе сейчас дать отчет в своих чувствах и вспомнил бы себя год или полтора назад, он бы сказал себе, что год назад (а тем более полтора) он не смог бы вот так повернуться на кровати и остаться лежать при этом известии: он бы либо и правда уехал на хутор, либо, скорее всего, поехал с Маркушевым вперед собственнолично отбивать танковую атаку. Во всяком случае, эта танковая атака была бы для него тогда чем-то пусть уже привычным, но все еще жутким, и он бы не смог спокойно на одном месте ждать ее результатов. Теперь он мог. Больше

того, он был убежден, что на улице под его окнами боя не будет, что танки останоят и начнут жечь еще на окраине и что сделает это тот же самый капитан Маркушев, прибежавший к нему таким взволнованным не потому, что танки, а потому, что Проценко был болен и как больной представлялся Маркушеву в момент боя чем-то легко ранимым, хрупким, что нужно немедленно отвезти назад, подальше.

Теперь в избу доносились звуки совсем близкого боя. Проценко опять повернулся лицом к стенке и, по временам открывая глаза, прислушивался, стараясь на слух определить, что происходит. Стрельба то затихала, то разгоралась с новой силой. По звукам было слышно, что стреляли и орудия и противотанковые ружья сразу и на северной и на южной окраинах деревни. Проценко еще год назад, в конце прошлой зимы, сумел победить в себе тот азарт наступления, который заставлял его бросать вперед сразу все, что у него было за душой. Еще тогда, на Западном фронте, немцы дали ему несколько хороших уроков, почуввав его оголенные тылы и однажды чуть не уничтожив его самого вместе со всем его штабом. Он был хорошим учеником и теперь, всегда испытывал чувство удовлетворения от того, что в решительные минуты боя, во время всяких неожиданностей и контр-атак всегда имел под рукой что-то, что в последнюю минуту можно было бросить на весы военного счастья.

Правда, у него в этом году прибавилось в дивизии и пушек и противотанковых ружей, но дело было не в этом. Раньше, сколько бы их ни было, он все равно не выдерживал характера и всегда бросал их в бой немного раньше, чем это было абсолютно необходимо. Теперь у него появилось острое чутье этой необходимости. Теперь он каким-то шестым чувством умел отличать необходимость действительную от необходимости кажущейся. Именно поэтому сейчас он спокойно сознавал, что вокруг деревни сосредоточено все нужное для того, чтобы отбить танковую атаку, и что Маркушев должен ее отбить, и что он правильно сделал четверть часа назад, повернувшись лицом к стене, вместо того чтобы собственными приказаниями вмешиваться в детали боя, в работу своего подчиненного, которую тот должен был сделать сам, без его помощи.

Через час начало темнеть. Звук близкого боя затихли, остались только далекие глухие разрывы мип там, на возвышенностях, где дрались полки. Капитан Маркушев вошел в избу уже не так торопливо, как в первый раз. До крыльца он бежал, но в селях, прежде чем войти, отдышался, χρησιμοποιав это время на то, чтобы снять с гимнастерки ремень с португеей и приладить его поверх полушубка. Он застал Проценко лежащим все в той же позе, в какой он его оставил.

— Доложите,— сказал Проценко, не поворачивая головы.

— Атака отбита,— отрапортовал Маркушев.— Четыре танка подбили, остальные отошли. Разбито одно орудие.

— Оббили,— сказал Проценко и только тут повернул голову к Маркушеву.

Маркушев стоял навтыяжку, затянутый поверх полушубка ремнем и в шапке, необычно прямо, аккуратно сидевшей на его голове.

— Вот это гвардейский доклад,— сказал Проценко.— И вид теперь имеете гвардейский.— И вдруг заметив ту особую аккуратность, с которой Маркушев, видимо, специально в сених надел шапку, улыбнулся и добавил: — Только что же это вы, капитан, шапку так надели? Шапка у гвардейца немного набекрень должна быть, чтобы был вид лихой.

Маркушев, тоже улыбувшись, привычно сдвинул набок шапку и сказал:

— Так точно, товарищ полковник.

— Ну, ладно, молодец. Иди,— сказал Проценко.— А то что же это, хотел меня из кровати вытаскивать. А я же не могу: мне же Вася не разрешает с кровати вставать.

Допосение от Шеновалова задерживалось. Оно пришло только к девяти часам вечера, потому что, как сказали полковнику, первый из посланных (связных) был убит по дороге митой. Шенова-

лов доносил, что пока продвинуться почти не удалось из-за свирепого огня, но что он надеется, введя в бой все наличные силы, решить дело ночью.

Проценко вызвал к себе начальника оперативного отдела и отдал ему несколько дополнительных приказаний, с тем, чтобы тот поехал с ними к Шеповалову и дутром вернулся обратно с донесением. Сводились эти приказания к обычным требованиям не бить в лоб и не тратить раньше времени резервы, но то, что Проценко все-таки сейчас посылал к своему заместителю специального человека с этими приказаниями, должно было дать Шеповалову понять, что сейчас это особенно важно и что командир дивизии предчувствует серьезное сопротивление немцев.

Когда начальник оперативного отдела уехал, Проценко подумал, что в сущности весь опыт, который он приобрел за время войны, в главном сводился к нескольким очень простым истинам, вроде тех, о которых он сейчас напоминал своему заместителю, но все эти истины, — очень простые, когда о них шла речь вообще, — становились предметом военного искусства в каждом определенном случае, когда их приходилось применять то в одних, то в других обстоятельствах. Не бить в лоб значило в каждом случае, в каждой новой местности знать безошибочно, где этот «лоб», а не вводить преждевременно резервы

значило каждый раз точно угадать ту минуту, которая отделяла «преждевременно» от «своевременно». Так было и со всеми остальными простыми истинами, и это оказывалось самым трудным.

К полупочти полковнику стало чуть-чуть легче и он наконец заснул. Когда он проснулся среди ночи, в избе было светло. Вася зажог на ночь светильник сталинградского изобретения — слюдяной стакан, края которого были сплющены под фитиль, а внутрь налит керосин. При свете этой самодельной лампы Проценко увидел торчавшие поперек дверей в кухню, обутые в тяжёлые сапоги, большие Васины ноги. Вася по своей привычке лег поперек дверей, чтобы полковник, не дай бог, куда-нибудь не вышел, не разбудив его. Проценко вдруг в первый раз подумал о том: как же будет, если им с Васей придется разлучиться после войны? «Наверное, не останется альбатантом, захочет пойти учиться на доктора, — подумал Проценко. — А может, и останется. Ведь так привыкли друг к другу». Ему казалось странным не только то, что Вася может после войны вообще быть не у него, но даже и то, что вдруг они будут жить на разных квартирах и что Вася не будет ходить за ним с автоматом и не будет есть вместе с ним и спать вот так, у дверей в соседнюю комнату. Будущая мирная жизнь показалась полковнику в эту минуту непривычной и даже неудобной.

Закрыв глаза, он прислушался. Ночью, в тишине, издали были хорошо слышны не только разрывы мин, но и пулеметные очереди,— на высотах шел почной бой.

Начальник оперативного отдела вернулся в десять утра. Проценко полулежал на кровати и с трудом, морщась от боли, мелкими глотками пил горячее молоко. Он отдал Васе стакан и молча выслушал доклад. За ночь положение не изменилось: 37-й полк, взобравшийся на высоты, утром был сброшен немцами обратно. 81-й по приказу Шеповалова попробовал обойти немцев еще левее, но попал под сильный фланговый огонь и тоже не смог продвинуться.

— Что делается сейчас? — отрывисто спросил Проценко.

— Сейчас подтянули артиллерию и должны начать общую атаку.

— Можете идти, — сказал Проценко и велел Васе подать ему карту с нанесенной на утро обстановкой. Обстановка оставалась почти той же самой, что и вчера днем, когда он уезжал с передовых. Вчера вечером и ночью Проценко волновался оттого, что не мог сам наблюдать за боем, и вообще от обычного нетерпения видеть свой план выполненным. Сейчас впервые в этом плане ему показалось не все таким новым, как представлялось вчера. Судя по всему, и Шеповалов и командиры полков действовали согласно его

указаниям, а между тем наступление задерживалось.

Он попробовал сесть и спустить ноги с кровати, но его шатнуло, и он, чуть не упав, опять ткнулся на подушки. Воспользовавшись минутной слабостью полковника, Вася, бывший пасторже, мимовременно сунул ему подмышку термометр.

— Тридцать девять и девять, — через десять минут с торжеством сказал он, — а вы вставать хотите.

— А ты что радуешься? — спросил Проценко.

— А то, что вас в госпиталь начо отвезти, вот что, — собрав все свое мужество, ответил Вася.

Проценко промолчал. Он подумал о том, что или он сегодня должен переломить болезнь или ему действительно придется поехать в госпиталь. Так могло тянуться вчера, сегодня, но завтра он должен будет или командовать дивизией или же находиться в ней. Он представил себя на минуту на месте Шеповалова, которого уважал и ценил, и подумал, что если он, Проценко, не будет командовать дивизией и в то же время будет находиться в ней, то Шеповалов будет восвать хуже, чем мог бы: он будет все время оглядываться на большого командира и, не чувствуя на себе всей тяжести командования и ответственности, не сумеет проявить всей своей инициативы и самостоятельности. Будь он сам на месте Шеповалова, он бы тоже чувствовал себя плохо. Поколе-

бавшись несколько минут, он твердо про себя решил, что если до завтра не переломит болезнь, то уедет в госпиталь, сдав командование Шеповалову.

— Плохо спали, товарищ полковник? — спросил Вася.

— Плохо.

— Я вам бромю дам выпить, может, заснете.

— Дай, — сказал Проценко.

Он и в самом деле неспрочь был заснуть на два три часа, до ближайшего донесения. Как у всех людей, которым некогда болеть, у него относительно болезни были свои собственные, устоявшиеся, воззрения, одно из которых состояло в том, что чем больше спать во время болезни, тем лучше и что, если человеку начинает легчать, то это происходит именно во сне. В этой надежде, проглотив две ложки брома, он задремал.

Донесение пришло в три часа. Шеповалов доносил, что утренние атаки отбиты, что он собирается, введя в бой резервы, атаковать еще раз.

— Какие будут приказания? — спросил связной командир, кладя на колени планшетку, чтобы записать все, продиктованное полковником.

Но полковник, вместо ответа, сказал Васе:

— Дай молока.

Вася подал стакан молока. Проценко сделал несколько глотков, и хотя попрежнему было больно, но ему показалось, что глотать уже легче.

— Давай сапоги, — сказал он Васе, — и пусть «Виллис» готовят.

Вася знал, что возражения бесполезны, и только робко попросил, чтобы полковник снял компресс:

— Нельзя с компрессом на улицу...

— Почему нельзя? — удивился полковник, слабо разбиравшийся в медицине. — Теплее же.

— Нет, нельзя, — сказал Вася. — Я вам сухую повязку сделаю.

Проценко послушно переждал, пока Вася развязал компресс и сделал сухую повязку, потом дал натянуть на себя сапоги, полушубок и, опираясь на Васино плечо, вышел на крыльцо. От свежего воздуха его шатнуло, и, поддерживаемый Васей, он поторопился сесть в машину рядом с шофером. Сзади сели Вася, связной командир и автоматчик. Машина тронулась. Через два километра они свернули с дороги влево и поехали по разбитой, ухабистой мокрой колее.

Наблюдательный пункт Шеповалова помещался в ложине, за гребешком маленького снежного холма. Отсюда была хорошо видна вся лежащая впереди длинная ложина и перец нею тянувшиеся влево и вправо холмы, занятые шемцами.

Проценко застал Шеповалова в момент, когда тот готовился отдать приказание о вводе на левом фланге 35-го полка. Шеповалов отрапортовал ему и стоял, ожидая приказанья. Был он с утра

брит, за что Проценко в душе похвалил его, но, видимо, очень устал и был рад приезду полковника, который теперь своими глазами мог убедиться, что выходит не так, как думалось, — не потому, что он, Шеповалов, делает что-то не так. а потому, что они не предугадали действий противника и немцы, защищая этот город, дрались не так и не там, где обычно.

— Прикажете вводить в бой тридцать пятый полк? — спросил Шеповалов.

— Нет, — ответил Проценко и несколько секунд молча рассматривал в бинокль поле боя.

— Какие потери? — спросил он, оторвавшись от бинокля.

Шеповалов тихо ответил. Потери были большие, очень большие, даже учитывая эти проклятые холмы и трудную обстановку. Проценко еще раз посмотрел в бинокль. Немцы располагались за обратными скатами холмов, и трудно было определить, какие у них здесь силы. Но все — и потери, и упорство сопротивления, и частые, ложившиеся рядами вперед миганые разрывы говорили за то, что немцев тут много. Между тем этого не должно было быть. Перед фронтом Проценко в последние дни отступала сильно потрепанная в боях 117-я немецкая пехотная дивизия, и если, как обычно, главные силы ее прикрывали шоссе, ведущее в город, то здесь, на этих холмах, прорвавшись через которые он хотел обойт

город, не могло бы быть больше двух потрепанных батальонов. А между тем...

Вдруг Проценко с той силой прозрения, которая возникала у него в трудные минуты, перевернул все происшедшее наоборот и представил себя на месте немецкого генерала, уже четвертую неделю отступавшего перед ним и за три недели отдавшего ему три города. Три города взял Проценко одним и тем же маневром, оставляя против немцев заслон на главной дороге и главными силами обходя город то слева, то справа по труднопроходимым местам, у которых немцы, не ожидая ударов, в свою очередь оставляли только слабые заслоны. Три раза противник попал на эту удочку, три раза Проценко входил в города с западных окраин, три раза 117-я немецкая дивизия стремительно отскакивала назад, оставляя пленных и раненых и с трудом выскальзывая из окружения. И вот этот четвертый город и снова шоссе, ведущее к нему, и снова труднопроходимые высоты. В конце концов, немецкий генерал, наверное, был капитаном или майором в ту германскую войну и уже полтора года воевал в эту, и первые растерянность и ошеломление у него уже прошли, и не было ничего хитрого в том, чтобы, одинаковым образом потеряв три города, на четвертый раз предугадать действия Проценко. Проценко с полной ясностью почувствовал, почти ощутил, что на этот раз не-

мец перехитрил его и оставил на главной дороге тоже заслон, а за этими холмами, по которым он бкл, у противника не два батальона, а полтора, а то, может быть, и два полка.

Проценко сел рядом с Шеповаловым на разостланную прямо на снегу плащ-палатку, и они вместе развернули на коленях вздувшуюся от ветра карту.

— Сколько времени? — спросил Проценко.

— Семнадцать, — сказал Шеповалов.

— Через час начнет темнеть, — сказал Проценко. — Прикажите тридцать пятому: сейчас же, с началом темноты, передвинуться с левого фланга на правый, на шоссе. А когда совсем стемнеет, оттяните и восемьдесят первый. Мы его тоже двинем на шоссе.

Проценко посмотрел на карту и отметил по ней путь следования полков сначала в тыл, потом вдоль фронта с выходом на шоссе.

— Сколько тут? — спросил он у Шеповалова. — Примерно двенадцать километров?

— Да.

— Ну, по такой дороге за четыре часа сосредоточатся в шоссе, а тридцать четвертый мы растягнем. Вы останетесь здесь. Артиллерию я вам оставляю всю, кроме противотанковой, и держитесь так, чтобы немцы ничего не заметили. Бейте их главным образом огнем, не жалейте снарядов.

— А атаки продолжать? — спросил Шеповалов.

— Общие — нет. Беспokoйте их весь вечер мелкими группами. Сегодня у вас главной будет артиллерия. И так довольно потеряли за день людей.

Он помолчал, пока Шеповалов давал приказания адъютанту, а потом сказал:

— С полками на шоссе поеду я сам. — И прибавил уже не официально, поясняя только что отданное приказание: — Понимаешь, Анатолий Дмитриевич, чувствую я, что перехитрили они меня сегодня. Главные силы у них здесь, а на шоссе так, — пустышки. Если скрытно передвинем полки, то город будет наш. Приезжай ко мне утром, я где-нибудь около городского собора буду.

Темнело. Над полем становилось все холоднее. Шеповалов отвинтил пробку у фляги и предложил Проценко:

— Выпейте, а то простудитесь. Александр Иванович.

Проценко взял флягу, сделал большой глоток и закашлялся долгим, тяжелым кашлем.

— Вот проклятая хвороба, — сказал он, держась за горло. — Как часовой: даже во рту в меня не пускает... Ну, я поехал. Действуй.

Он возвращался почти в полной темноте. По проселочной дороге, шедшей через окраину деревни, где помещался штаб, шли двигавшиеся по

шоссе передовые части 35-го полка. К ночи подморозило. Люди шли, позвякивая оружием, поживаясь, то и дело притопывая мокрыми валенками.

Когда Проценко доехал до своей избы, Вася стал уговаривать его полежать часок и потом дотопить войска, потому что когда еще пехота дотопает. Но Проценко почувствовал, что если он сейчас слезет с «Виллиса» и ляжет, то сегодня уже больше не встанет. А сейчас он чувствовал, как возбужденные предстоящего боя охватывают его и загоняет болезнь куда-то далеко, внутрь, не дает ее чувствовать.

Вася соскочил с машины, забежал в избу и принес Проценко пилюли и полоскание. Проценко, не слезая с машины, послушно проглотил пилюли, прополоскал горло и сказал шоферу:

— Трогай.

Всю первую половину ночи он провел в районе шоссе, отдавая приказания и объясняя задачи командирам. Город надо было взять сегодня ночью. Не было времени подтащивать артиллерию, и решили воспользоваться темнотой, неожиданностью и густым автоматным огнем. Для первого удара он стянул всех бывших в его распоряжении автоматчиков, прибавил к ним дивизионную роту разведчиков и приказал подтащить, как только можно было близко, к немцам все минометы — ротные, батальонные и полковые. Немцев надо было глушить сразу минометами,

автоматами, — всем, что было под руками. И если Шеповалов там, на левом фланге, не даст немцам заметить никаких перемен, то они подумают, что здесь, на шоссе, вступили в бой новые части, и, если даже у них окажутся силы для контр-удара, они все равно не выдержат и оставят город, боясь окружения, — того самого окружения, которым они когда-то систематически и упорно пугали нас.

Бой начался в три часа ночи, и к шести утра в бледной дымке зимнего рассвета первые отряды автоматчиков прорвались на окраины города. Офицер связи, прибывший из армии, торопил Проценко, чтобы он донес о взятии города.

— Нет, — сказал Проценко, — я еще город не взял.

— Как же не взяли, товарищ полковник? — горячился офицер связи. — Уже на окраинах.

— Окраины — это еще не город, — сказал Проценко. — Я уже скоро два года воюю, товарищ майор. Мне теперь краснеть неудобно. Я уже краснел один раз год назад: донес раньше времени — по сводке взяли населенный пункт, а потом еще три дня его брали.

— Но ведь сейчас-то пескомпелно возьмете.

— Возьму, — уверенно сказал Проценко. — Возьму и донесу. Ничего, пусть потерпят в штабе армии: не в сегодняшней сводке донесут во фронт, а в завтрашней, — не беда. Главное, то-

варищ майор, взять. А если сводка будет завтра, так это ничего.

В семь часов утра Проценко подъехал на своем «Виллисе» к городскому собору и остановил машину около широкой, избитой осколками снарядов палерти. Конный связист прискакал с западной окраины и сообщил, что от немцев очищаются последние дома.

— Вот теперь донесем,— сказал Проценко майору. — Донесем, что город взят.

По улицам мимо него проходили роты, двигавшиеся во втором эшелоне. Многие были небриты. Старые, воевавшие еще в ту войну, солдаты обычно сразу были видны по густым усам и по ловкой солдатской выправке. Много было и молодых ребят, совсем молодых. Но и те и другие шли через город уверенно, привычно, по-солдатски. Было в них во всех что-то удалое, рождающееся среди тяжелого опыта войны. Проценко вспомнил свою кадровую дивизию, где он был начальником штаба перед самой войной. Да, она имела тогда более молодежавый вид, лучшую выправку, и бойцы в ней были все ровесники, один к одному. Но у них не было вот этой бывалости, этой привычки, этого спокойствия перед лицом опасности, которые были у бойцов, проходивших сейчас перед ним. Очевидно, таков был закон войны. Многим пришлось погибнуть, прежде чем те, которые остались живы и дрались сейчас, стали

такими — бывалыми, кадровыми солдатами и командирами не по названию, а по существу.

Мысли Проценко прервал подъехавший к нему на машине Шеповалов. Он доложил Проценко о ходе боя на левом фланге, вернее, уже не о ходе боя, а о ходе преследования. Потом, поймав взгляд Проценко, он тоже несколько секунд рассматривал проходивших бойцов.

— Взяли все-таки город, — сказал он. — Гопим немцев. Подумайте, товарищ полковник, как бы мы их сейчас погнали, если бы у нас была кадровая дивизия полнокомплектная, с которой войну начинали.

— Такая, с какой войну начинали? — переспросил Проценко. — Нет, Анатолий Дмитриевич, не правы вы. С такой дивизией, с какой войну начинали, медленнее бы сейчас гнали немцев. Хорошая была дивизия, но та, что сейчас у нас с вами, лучше. И мы с вами лучше, и командиры наши лучше.

— Но все-таки та кадровая же была, — сказал Шеповалов.

— Эта тоже кадровая, — ответил Проценко. — Еще более кадровая, чем та. — Он показал пальцем на улицу, по которой проходили войска. — Вот и мы с вами, и они — все, кто есть, теперь с университетским образованием, а войну начинали со школьным, потому что учение — это школа, а университет — война. только война.

Вы так говорите, Анатолий Дмитриевич, потому что в начале войны из запаса пришли и сами себя не цените: все вам кажется, что вы еще немного штатский человек. А вы сейчас самый что ни на есть кадровый, — более кадровый, чем я сам в начале войны был, хоть до этого пятнадцать лет в армии пробарабанил. Ну, что же, — добавил он уже другим, официальным, тоном, — подыскивайте помещение для штаба. Распоряжайтесь преследованием. Мне сейчас Вася квартиру найдет, я лягу до вечера.

С подъехавшего грузовика соскочил майор Гвоздев и, подбежав к Проценко, отрапортовал. Проценко, усталым движением поднося руку к козырьку, посмотрел на его сапоги. Гвоздев весело кивнул на грузовик.

— Первую партию привез, — сказал он. — На плечах вытащили.

— А где остальные? — спросил Проценко.

— К ночи будут.

— Хорошо. Можете идти. Ну, — повернулся он к подошедшему Васе, — нашел квартиру?

— Нашел, товарищ полковник. И кровать для вас уже застелена.

— Вечером проведай меня. Анатолий Дмитриевич, — сказал Проценко Шеповалову, усаживаясь поудобнее в машину и запахивая бурку.

Он посмотрел вверх на разорванное белое облачко, на начинавшее голубеть небо, потом пере-

вел взгляд на землю, на которую пятнами лежали солнечные зайцы, и добавил:

— Я к вечеру поднимусь, наверное, лучше станет. Уж больно погода сегодня хорошая.

Южный фронт

СОДЕРЖАНИЕ

Юг

Русская душа	5
Краснодар	20
Гулькевичи—Берлин	31
Парамон Самсонович	41
Трое суток	60

Запад

На старой Смоленской дороге	81
Второй вариант	95
Третье лето	122

Север

Полярной ночью	203
--------------------------	-----

Рассказы

Песня	213
Восьмое ранение	225
Сын Аксиньи Ивановны	251
Зрелость	280

5 p. 25 K.